

Эдмунд Левин

Дело Бейлиса и миф об иудейском
заговоре в России начала XX века

Москва

Новое литературное обозрение

2022

«Левин, Эдмунд. Дело Бейлиса и миф об иудейском заговоре в России начала XX века»: Новое литературное обозрение; Москва; 2022

ISBN 978-5-44-482022-3

20 марта 1911 года тринадцатилетний Андрей Ющинский был найден зарезанным на окраине Киева. Четыре месяца спустя полиция арестовала Менделя Бейлиса, тридцатисемилетнего отца пятерых детей, работавшего приказчиком на кирпичном заводе неподалеку. Никаких доказательств причастности Бейлиса к убийству не существовало, главным обвинителем был подозреваемый в убийстве, а само обвинение было основано на так называемом «кровавом навете» — фольклорном сюжете, согласно которому евреи используют кровь христиан в ритуальных целях. Российское общество, находившееся тогда на пороге исторической катастрофы, раскололось на тех, кто доказывал невиновность Бейлиса, и тех, кто стремился сделать этот случай поводом для масштабных антисемитских кампаний. Государственное обвинение вызвало протесты по всему миру, в защиту Бейлиса выступали Томас Манн, Герберт Уэллс, Анатолий Франс, Артур Конан Дойл, архиепископ Кентерберийский и Джейн Аддамс. Автор — американский журналист и продюсер Эдмунд Левин — од ним из первых обратился к материалам дела и подробно рассказал историю, которая стала символом и грозным предостережением о пугающей силе и живучести лжи.

Оглавление

Предисловие	4
Действующие лица	10
«Чего я буду бояться?»	17
«Вендетта сынов Иакова»	35
«Некий жид Мендель»	60
«Андрюша, не кричи!»	91
«Ты второй Дрейфус»	113
«Чеберяк знает всё»	134
«Кто силен?»	150
«Хуже и страшнее всего»	175
Процесс	187
«Мы видели убийцу»	216
«Господа присяжные заседатели!»	233
«Запах гари, железа и крови»	268
О датах и терминах	286
Благодарности	287
Источники и литература	289
Краткая библиография	291

Предисловие

Весной 1911 года в пещере на дальней окраине Киева, входившего в состав Российской империи, был найден труп мальчика: на теле оказалось около пятидесяти колотых ран. Мальчика опознали как Андрея Ющинского тринадцати лет. Четыре месяца спустя отряд полиции и жандармов среди ночи ворвался в дом Менделя Бейлиса, приказчика, работавшего на кирпичном заводе, которого обвинили в убийстве мальчика. Осенью 1913 года состоялся самый громкий судебный процесс того времени. Отчеты о процессе публиковались на первых страницах газет всего мира, так как Бейлиса обвиняли в ритуальном убийстве христианского ребенка.

Представление, что иудеи ради своих дьявольских целей совершают ритуальные убийства христианских детей, чтобы добыть их кровь, зародилось в Западной Европе в XII–XIII веках. Кровавый навет оказался очень живучим: о нем то десятилетиями не вспоминали, то вдруг со скоростью эпидемии начинали распространяться новые слухи, как это было в конце XIX столетия в Центральной и Восточной Европе. Но никогда еще они не становились поводом к судебному разбирательству, как в случае с делом Бейлиса в Киеве, начатым при полной поддержке правительства.

Россия времен Николая II, где господствовали коррупция и упадок, была охвачена параноидальным страхом перед «властью евреев», о чем свидетельствуют около полутора тысяч различных законов и указов, ограничивавших территории, на которых могли селиться иудеи, число школ, куда они могли отдавать детей, и профессий, какими они имели право заниматься. В первые годы XX века во время страшных погромов черносотенцы убили и покалечили сотни евреев, и царские чиновники часто закрывали глаза на эти зверства. Примерно в то же время в России были сфабрикованы

скандално известные «Протоколы сионских мудрецов», содержавшие якобы разработанный евреями секретный план по установлению мирового господства и получившие впоследствии распространение на Западе.

Впервые я услышал фамилию Бейлиса еще мальчиком от своей русско-еврейской бабушки, вспоминавшей за обеденным столом о дореволюционной России и о преследованиях евреев при царской власти. (Жалею теперь, что не записал ее рассказы.) Как-то после одной из таких историй она вдруг слегка покачала головой и с горькой усмешкой произнесла: «А Мендель Бейлис!» — и я понял, что за этим именем скрывается нечто очень значительное.

Много лет спустя, вспомнив бабушкино восклицание, я захотел побольше узнать об этом деле и был удивлен, обнаружив, что последняя книга о Бейлисе была написана почти полвека назад и что единственный основанный на первоисточниках отчет о событиях был опубликован в начале 1930-х годов в Советском Союзе. Кроме того, выяснилось, что после распада СССР зарубежные ученые получили доступ к архивным документам, включая оригинальные материалы дела. Однако никто не стал углубляться в них, чтобы во всех деталях рассказать историю дела Бейлиса.

Вскоре я уже просматривал тысячи отснятых на микроплёнку документов, к которым позднее добавились еще сотни архивных, часто с грифом «совершенно секретно». Попытки восстановить события этой драмы, длившейся два с половиной года, привели меня в Киев, теперь столицу Украины. Я ходил по улицам города, повторяя путь Андрея Ющинского, в последний день своей жизни отправившегося на тайную встречу с лучшим другом. Сидя в главной библиотеке Киева и читая отлично сохранившиеся номера газет, я чувствовал, как оживали перед моими глазами события прошлого.

Передо мной разворачивалась огромная и разнообразная панорама жизни евреев той эпохи в Восточной Европе: евреев сказочно богатых, как владельцы сахарных заводов в Киеве, и бедных, принадлежавших, как Бейлис, к рабочему классу, копивших гроши, чтобы отдать детей в русскую школу в надежде обеспечить им благополучное будущее. Но история Бейлиса повествует не только об этом: не только о целой сети гонителей евреев и их интригах, но и о многих достойных русских христианах, пытавшихся положить конец разбирательству, о целой веренице колоритных маргинальных персонажей, сыгравших ту или иную роль в судьбе Бейлиса. Кроме того, дело Бейлиса неожиданно проливает свет на историю революционного подполья, откуда вышли люди, которым всего через пять лет предстояло править Россией.

В Западной Европе процесс вызвал неприятное ощущение дежавю: когда в 1911 году Бейлиса арестовали, прошло всего пять лет с момента окончательного оправдания французского офицера Альфреда Дрейфуса — еврея, ложно обвиненного в государственной измене и отправленного на каторгу на Чертов остров. В защиту Бейлиса в один голос выступили ведущие деятели культуры, политики и представители духовенства: Томас Манн, Герберт Уэллс, Анатолий Франс, Артур Конан Дойл и архиепископ Кентерберийский.

В Америке дело Бейлиса положило начало вдохновляющему сотрудничеству евреев с неевреями, хотя почти в то же самое время там состоялся свой антисемитский судебный процесс, не менее скандальный и пугающе похожий. В августе 1913 года Лео Франк, управляющий карандашной фабрикой, был приговорен к смерти по ложному обвинению в убийстве девушки-подростка, работницы фабрики. Как ни удивительно, оба случая вызвали множество споров и разногласий среди видных американских евреев.

В России дело Бейлиса пришлось на период, когда со всей очевидностью обнаружилась дряхлость режима, вот-вот готового рухнуть. Процесс над Бейлисом — яркая иллюстрация к последней главе в истории династии Романовых. Русских преследовало ощущение, что привычный мир рассыпается на части, их объединяло чувство грядущей катастрофы, хотя они и не знали, какое обличье она примет.

Я постарался представить персонажей этой книги с учетом лишь того, что им было известно на тот момент. Но читателю стоит держать в уме то, чего действующие лица не знают: почти все они будут уничтожены или сметены надвигающейся революцией — обречены на гибель или изгнание, расстрел или эмиграцию. Хотя среди них могли быть и люди, заслужившие своей участи, о многих других этого сказать нельзя: это был цвет русского общества, лучшие представители либеральной интеллигенции. Пожалуй, Россия так и не оправилась от этой потери.

Несмотря на широкий резонанс дела Бейлиса и последующее внимание к нему, исследователи странным образом обходили его стороной. Классическим отчетом о процессе считается «Кровавый навет» Мориса Самюэла (1967), а книга Роберта Вайнберга «Кровавая клевета в поздней имперской России. Ритуальное убийство Менделя Бейлиса» (2013), представляет собой образцовое собрание документов с вводными текстами, предваряющими каждую главу. До настоящего времени единственным полным документальным повествованием о процессе оставалась книга Александра Тагера «Царская Россия и дело Бейлиса», впервые изданная в 1933 году. Книга Леонида Кациса «Кровавый навет и русская мысль» представляет собой исчерпывающий анализ связанных с религией материалов процесса. В книге Александра Пиджаренко «Неритуальное убийство на Лукьяновке: криминаль-

ный сыск Киева в начале XX века» вымышленная реконструкция событий причудливо переплетается с оригинальными документами, часть которых нигде более не публиковалась. Бернارد Маламуд, на которого дело произвело сильное впечатление, взял его за основу сюжета своего романа «Мастер» (*The Fixer*, 1967), удостоенного Пулитцеровской премии и Национальной книжной премии США. Однако за все эти десятилетия не появилось не только полноценного анализа дела Бейлиса, но даже ни одной книги, излагающей с опорой на первоисточники всю историю расследования и суда от начала до конца. В нашей книге история процесса над Бейлисом впервые изложена целиком, с момента зарождения предъявленного ему обвинения в головах нескольких фанатиков до нашумевшего судебного разбирательства.

Через сто лет после того как Бейлиса впервые ввели в зал суда, вменявшееся ему в вину убийство продолжает привлекать внимание представителей крайне правых в России и на Украине. Сегодня в кровавый навет верит значительная часть населения Ближнего Востока; о нем упоминают крупнейшие газеты, такие как «Эр-Рияд» в Саудовской Аравии, а профессор Каирского университета преподносит его как факт. В 1986 году вышла книга Мустафы Тласа, на тот момент министра обороны Сирии, под названием «Маца Сиона», которую переиздавали и цитировали вплоть до 2000-х годов. В октябре 2001 года египетская газета «Аль-Ахрам» писала: «О зверском обычае замешивать мацу на крови неевреев на еврейскую Пасху свидетельствуют документы палестинской полиции, где зафиксировано много случаев обнаружения тел пропавших арабских детей: их находили изрезанными на куски, без единой капли крови. Наиболее правдоподобное объяснение заключается в том, что кровь евреи-экстремисты выкачивают, чтобы затем готовить на ней мацу, которую они едят во

время празднования Пасхи». Подобные примеры встречаются в тошнотворных количествах, то есть кровавый навет не изжит и в XXI веке. Испытание, выпавшее на долю Менделя Бейлиса, — предостережение, напоминающее о силе и живучести убийственной лжи.

Наша книга основана главным образом на первоисточниках — в первую очередь стенограмме судебного заседания и объемных материалах дела из Государственного архива Киевской области — и на отчетах, печатавшихся в российских газетах того времени, а также на отдельных статьях из еврейской прессы. Особенно полезным для реконструкции образа человека, попавшего на скамью подсудимых, оказался текст, который я называю «утраченной автобиографией» Менделя Бейлиса, — обширное, состоящее из нескольких частей интервью, которое он дал в 1913 году газете «Хайнт» («Сегодня»), выходившей на идише, и которое, судя по всему, столетие пролежало нечитанным.

■ Действующие лица

Главные персонажи

Андрей Ющинский,

также Андрюша, тринадцатилетний мальчик, убитый в Киеве в марте 1911 года.

Менахем Мендель Бейлис,

приказчик киевского кирпичного завода, обвиненный в убийстве Андрея.

Вера Чеберяк,

мать Жени, лучшего друга Андрея, держательница воровского притона.

Подозреваемые

Вера Чеберяк, (см. выше).

Иван Латышев,

по кличке Ванька Рыжий, член шайки Веры Чеберяк.

Борис Рудзинский, он же Борька,

член шайки Веры Чеберяк.

Петр Сингаевский по кличке Плис,

сводный брат Веры Чеберяк.

Обвинители Бейлиса

Иван Григорьевич Щегловитов,

министр юстиции.

Николай Алексеевич Маклаков,

министр внутренних дел, брат адвоката Бейлиса Василия Маклакова.

Степан Петрович Белецкий,

директор Департамента полиции.

Георгий Гаврилович Чаплинский,

прокурор Киевской судебной палаты.

Александр Васильевич Лядов,

вице-директор 1-го департамента
Министерства юстиции, посланный в
Киев в мае 1911 года для пересмотра
результатов расследования.

Владимир Голубев,

студент Киевского университета и
глава правой молодежной органи-
зации «Двуглавый орел».

Андрей Карбовский,

товарищ прокурора Киевского окруж-
ного суда.

Николай Николаевич Кулябко,

начальник Киевского охранного отде-
ления.

Адам Полищук,

бывший агент полиции.

Защитники Бейлиса: чиновники, полиция, журналисты

Николай Красовский,

становой пристав в уездном городе,
прежде служивший сыщиком в киев-
ской полиции и приглашенный рассле-
довать убийство Ющинского.

Евгений Мищук,

начальник Киевского сыскного отделе-
ния.

Василий Иванович Фененко,

следователь по особо важным делам
Киевского окружного суда.

Николай Васильевич Брандорф,

прокурор Киевского окружного суда,
пытавшийся прекратить процесс над
Бейлисом.

Степан Иванович Бразуль-Брушковский,

амбициозный киевский журналист.

Арнольд Давидович Марголин,

отпрыск одной из богатейших семей в
Российской империи, первый адвокат
Бейлиса.

Владимир Дмитриевич Набоков,

выдающийся либеральный юрист и
журналист (отец писателя Владимира
Набокова).

Василий Витальевич Шульгин,

депутат Госдумы, публицист правых
взглядов, выступавший против еврей-
ских погромов.

Адвокаты Бейлиса

Оскар Осипович Грузенберг,

самый известный русский юрист
еврейского происхождения, глава
адвокатской команды в деле Бейлиса.

Николай Платонович Карабчевский,

один из наиболее знаменитых русских
адвокатов.

Василий Алексеевич Маклаков,

адвокат, брат министра внутренних
дел Николая Маклакова.

Александр Сергеевич Зарудный,

адвокат, широко известный тем, что защищал революционеров.

Дмитрий Николаевич Григорович-Барский,

киевский адвокат.

Обвинение

Оскар Юрьевич Виппер,

прокурор.

Алексей Семенович Шмаков,

поверенный матери Андрея Ющинского, гражданский истец.

Георгий Георгиевич Замысловский,

член фракции правых в Государственной думе, поверенный матери Андрея Ющинского, гражданский истец.

Свидетели защиты

Амзор Эльмурзаевич Караев,

молодой революционер.

Сергей Махалин,

молодой революционер, вместе с Амзором Караевым пытавшийся помочь Бейлису.

Михаил Наконечный,

сапожник, сосед Бейлиса.

Евдокия (Дуня) Наконечная,

его дочь.

Екатерина Дьяконова,

знакомая Веры Чеберяк.

Зинаида Малицкая,

соседка Веры Чеберяк этажом ниже.

Павел Константинович Коковцов,

профессор, один из крупнейших русских гебраистов.

Иван Егорович Троицкий,

профессор Санкт-Петербургской духовной академии, специалист по иудаизму.

Яков Мазе,

главный раввин Москвы.

Свидетели обвинения

Вера Чеберяк (см. выше).

Василий Чеберяк,

ее муж.

Людмила Чеберяк,

ее дочь.

Иустин Пранайтис,

католический священник, выступавший в роли эксперта по иудаизму.

Иван Алексеевич Сикорский,

профессор психиатрии в Киевском университете.

Дмитрий Петрович Косоротов,

судебный медик, профессор.

Казимир и Ульяна Шаховские,

фонарщики, свидетели, видевшие Андрея в то утро, когда он исчез.

Анна Захарова (Волкивна),

нищенка и пьяница.

Разные лица с сомнительной репутацией

Павел Мифле,

бывший любовник Веры Чеберяк.

Иван Козаченко,

сокамерник Бейлиса.

Анна Дарофеева,

женщина, убившая своего мужа.

Политики и чиновники

Петр Аркадьевич Столыпин,

председатель Совета министров Российской империи и министр внутренних дел; убит в сентябре 1911 года.

Владимир Николаевич Коковцов,

преемник Столыпина на посту председателя Совета министров.

Павел Григорьевич Курлов,

генерал, товарищ министра внутренних дел, главноначальствующий Отдельного корпуса жандармов.

Александр Федорович Шредель,

полковник, начальник Киевского губернского жандармского управления.

Семья Андрея Ющинского

Александра Приходько,

мать Андрея.

Лука Приходько,

отчим Андрея, муж Александры.

Наталья Нежинская,

тетка Андрея, сестра Александры При-
ходько.

Федор Нежинский,

дядя Андрея, брат Александры При-
ходько.

■ «Чего я буду бояться?»

Два мальчика искали клад. Днем 20 марта 1911 года двое гимназистов двенадцати-тринадцати лет отправились на разведку в усадьбу Бернера в предместье Лукьяновка на северной окраине Киева. К усадьбе Бернера, участку земли площадью чуть менее пяти гектаров, испещренному насыпями, канавами и оврагами, поросшему густым кустарником, жаждавших приключений мальчиков влекли таинственные пещеры. Примерно за шестьдесят лет до описываемых событий пещеры были случайно обнаружены прокладывавшими дорогу рабочими и с тех пор будоражили воображение археологов и кладоискателей. Поскольку, согласно преданию, именно в таких местах обычно бывают зарыты клады, в 1850-е годы по указанию местного помещика здесь были проведены тщательные поиски сокровищ, якобы добытых в начале XVIII века казачьим атаманом.

К тому моменту, когда сюда приехали археологи, кладоискатели прочесали все пещеры, кроме одной, в которой археологи как раз обнаружили наиболее ранние из известных следов первых поселений на территории Киева, относящиеся к эпохе неолита. Находки оказались примечательными: кремневый нож, осколки гончарных изделий и гранитный очаг, настолько хрупкий от длительного использования, что камень можно было легко истолочь в муку, просто отломив кусок и растерев его в пальцах. При дальнейших раскопках было найдено около двух тысяч человеческих скелетов: территория усадьбы прежде служила местом захоронения.

К весне 1911 года никаких археологов там давно уже не было, земля оставалась бесхозной, и киевская газета писала о ней как о «месте для игр детей-лукьяновцев», где «местные хулиганы и „босяки“ имели... свой притон». Но легенда о сокровищах, спрятанных не то атаманом или «гетманом», не

то мародерами-гайдамаками, продолжала будоражить воображение. Мальчики были уверены, что где-то в недрах этого унылого холма, расположенного примерно в трехстах метрах от извилистых улочек предместья, таятся несметные сокровища. Стоя на вершине крутого склона, мальчики видели буроватую ленту Днепра на северной границе Киева. Справа виднелись крыши и трубы кирпичного завода, принадлежавшего Зайцеву, богатому еврею. Местные дети частенько пробирались на территорию завода и играли там, пока сторож не прогонял их прочь.

Петя Еланский, затеявший эту экспедицию, повел своего друга Боря Белошицкого вниз, к пещере. Рядом с входом в пещеру, на земле, Петя увидел порванную школьную тетрадь. Он прочел на обложке имя, но оно ни о чем ему не говорило.

Боря боялся спускаться в пещеру. Все знали, что клад могут охранять злые духи гайдамаков. Но Петя не колебался. Пещера была прекрасным тайником: вход в нее составлял около метра в высоту и менее восьмидесяти сантиметров в ширину — слишком маленький, чтобы туда вздумалось заглянуть взрослому, но достаточно большой, чтобы мальчику пролезть внутрь, согнувшись.

Температура была чуть выше нуля: вот уже три дня в Киеве стояла весенняя оттепель, каждый год превращавшая немощные улицы города в грязные реки и заставлявшая жителей бояться, как бы полноводный Днепр снова не вышел из берегов и не случилось еще одного страшного наводнения. Вода тоненьким ручейком струилась в пещеру, но внутри было сухо. Когда Петя прополз метра два, он увидел развилку, делившую пещеру на две ниши, расположенные под прямым углом одна к другой. Теперь он мог выпрямиться во весь рост: внутри высота пещеры превышала в некоторых местах полтора метра. Сначала мальчик заглянул в левую нишу и заметил какую-то фигуру, привалившуюся к стене. Сперва он

решил, что это кукла. Потом подумал, что женщина. Он, конечно, видел пьяниц, шатавшихся по улицам Лукьяновки, где питейные заведения попадались чуть ли не на каждом углу. Но фигура не шевелилась, а вид у нее был странный и зловещий.

Петя вылез из пещеры и побежал к отчиму, Леонтию Синицкому, фельдшеру, работавшему в полиции. Синицкий отнесся к словам пасынка скептически: мальчику наверняка померещилось. И все же около двух часов пополудни он отправился в пещеру вместе с Петей. Согнувшись, добрался до середины. Свет слабо проникал внутрь, но Синицкий разглядел фигуру человека, показавшуюся ему похожей на бородатого мужчину. Он испугался, что кто-то затаился, чтобы напасть, выкарабкался наружу и вместе с Петей побежал к ближайшей церкви, где стоял на посту городской.

Вскоре раздался свисток городского, на который явился дежурный городской. Узнав, что случилось, тот пошел к пещере вместе с Синицким и его пасынком. Протиснувшись внутрь, зажег спичку. Тело, сообщил городской, принадлежит не мужчине или женщине, а мальчику, и этот мальчик мертв. На нем были лишь рубашка, кальсоны и один заношенный чулок. Труп находился в полулежачем положении, руки были связаны за спиной бечевкой. Прямо над ним из щели в стене пещеры торчали пять школьных тетрадей. На полуголых ногах, согнутых и скрещенных, лежал ремень, на обратной стороне которого городской обнаружил надпись: «Ученика приготовительного класса Киево-Софийского училища Андрея Ющинского».

Городской хотел было забрать из пещеры ремень, но Синицкий его остановил — он знал, что до прибытия следователей ничего нельзя трогать. Прибыло подкрепление, и некий офицер Рапота из-за своей дородности не смог

протиснуться в пещеру. Принесли лопату, расчистили снег, а вместе с ним и следы, что могли на нем оставаться.

Чуть менее чем в трехстах метрах от пещеры приказчик Мендель Бейлис сидел за столом в своей конторе, где работал с раннего утра. «Когда я посмотрел в... окно в то холодное, темное утро, — вспоминал он позже, — я увидел людей, бегущих куда-то в одном направлении». Когда он вышел, чтобы узнать, что случилось, ему сказали, что неподалеку нашли тело убитого мальчика. Бейлис никуда не побежал, он вернулся в контору, где продолжал выписывать квитанции на груженные кирпичом подводы, отправлявшиеся с завода.

Вскоре, как писала местная газета, «толпы любопытных плотным кольцом окружили пещеру». Многие зеваки хотели пробраться внутрь. Полиция с трудом выдерживала натиск толпы. До прибытия следователя, которому поручили дело, надлежало оставить все как есть; вместо этого ремень, пять тетрадей Андрея Ющинского и несколько клочков газеты, испачканных кровью, уже отправили в полицейский участок. Когда тужурку и шапку мальчика, найденные в правой нише пещеры, вынесли наружу, люди из толпы запросто трогали и рассматривали их.

В числе первых, кого полиция пригласила в пещеру для опознания тела, была Вера Чеберяк, мать лучшего друга Андрея Ющинского Жени. Чеберяк в Лукьяновке имела дурную славу. Несколькими годами ранее она ослепила своего любовника, гармониста-француза, плеснув ему в лицо серной кислотой, но почему-то избежала наказания. Поговаривали, что она содержит воровской притон, скупает краденое, занимается сводничеством. Как ни удивительно, Вера Чеберяк уже много лет была замужем за почтенным чиновником, которому родила троих детей. Увидев тело, Чеберяк сказала полицейским, что ребенок в самом деле похож на друга ее сына, но имя на ремне ей незнакомо. Она знала мальчика

только по прозвищу — Домовой. В тот же день она вернулась уже с сыном Женей, который и сообщил ей, что фамилия его друга была Ющинский. Мать и сына провели через расчищенный вход в пещеру. Увидев тело, мальчик сказал: «Да, мама, это он самый и есть Домовой».

В окружении Андрея Ющинского почти у всех, взрослых и детей, были прозвища: Лапочка, Лягушка, Волкивна, Курносый, Криворучка, Косой, Матрос... Иной раз происхождение прозвища было очевидным, иной раз не вполне. Едва ребенок получал прозвище, оно накрепко к нему приклеивалось и преследовало буквально до могилы. Только тогда на простом кресте вырезали его настоящие имя и фамилию. Однако Андрею было отказано в этих скромных почестях: закон запрещал ему носить фамилию отца, который оставил жену и сына, когда мальчику не исполнилось и двух лет, и, по слухам, уехал на Дальний Восток служить в царской армии.

Товарищи Андрея рассказали, что он избегал называть свою фамилию Ющинский — девичью фамилию матери, знак его незаконного происхождения. Однако ему нравилось говорить об отце. Андрей уверял друзей, что в конце концов он воссоединится с этим человеком, Феодосием Чирковым, который не дал ему даже свою фамилию. Мальчик рассказывал друзьям, что отец вернется и непременно позовет сына к себе жить, и он, Андрей, возьмет с собой бабушку, а мать и даже любимую тетку Наталью не возьмет, потому что иначе люди подумают, что отец просто хочет еще одного ребенка от той или иной женщины, но Андрей никому не позволит так думать. Иногда воссоединение с отцом виделось мальчику событием отдаленного будущего. Когда вырастет, говорил Андрей товарищам, он сам отправится на Дальний Восток на поиски отца, который, конечно, ждет его.

Всю жизнь родные называли Андрея обычным уменьшительным именем Андрюша, однако остальные жители Лукьяновки знали его по прозвищу Домовой, по имени некоего доброго духа дома, который временами может шалить и бить посуду.

Возможно, прозвище было связано с телосложением Андрея: казалось, что в отрочестве он совсем перестал расти. Сосед, знавший Андрея с раннего детства, считал, что прозвище Домовой он получил потому, что любил бродить по ночам в одиночку по улицам. «Я его, бывало, спрашиваю: что ты так поздно ходишь, тебе не страшно? А он отвечает: чего я буду бояться?»

Субботним утром 12 марта 1911 года Андрей проснулся около шести утра. Он осторожно поднялся, не разбудив двух своих братьев, спавших в той же комнате. Мать и отчим были на работе. В тот день Андрей решил прогулять школу — судя по свидетельским показаниям, впервые в жизни — и отправиться в хорошо знакомую ему Лукьяновку.

Ему повезло: на кухне он нашел вчерашний борщ, которым и позавтракал. Чаще всего еды в доме не было, и он ходил голодный. Возможно, расти он перестал от недоедания: в тринадцать лет его рост составлял немногим более ста тридцати сантиметров. (В судебно-медицинском заключении отмечалось хрупкое сложение и недостаточное питание мальчика.)

Накануне Александра, мать Андрея, жаловалась собственной матери, что у нее нет ни гроша. Немногих денег, которые Александра выручала стиркой белья и торговлей овощами, и жалованья ее мужа Луки, переплетчика, едва хватало, чтобы не умереть с голода. В ответ мать дала Александре шестнадцать копеек, которых хватило на картошку, свеклу, капусту и подсолнечное масло для супа.

Часов в доме не было, однако Андрей всегда просыпался вовремя. Учителя говорили, что мальчик всегда приходил ровно к половине девятого. Когда Андрей в то утро вышел из дома, казалось, он направляется в Киево-Софийское духовное училище, куда поступил, чтобы стать православным священником. Понукаемый теткой Натальей, ради этого он в течение девяти месяцев занимался с репетитором (который называл его «очень восприимчивым», хотя и «немного задумчивым»). С осени предыдущего года он получал в училище приличные отметки, что для ребенка в его обстоятельствах можно назвать достижением.

Андрей носил вышитую матерью сорочку, темные брюки, фуражку с эмблемой училища, форменную тужурку и войлочное пальто. Учебники Андрей перевязывал двумя кожаными ремнями, подаренными на Рождество теткой Натальей, платившей за его обучение. Для учебы ему требовалось каждый день всего три-четыре книги, но он всегда носил с собой все семь или восемь, а еще с полдюжины тетрадей, боясь, что, если оставит книги и тетради дома, младшие братья их изорвут.

Соседский мальчик Павел Пушка видел, как Андрей вышел из дома, перекинув через плечо тяжелую связку книг. Павел некоторое время шел рядом, но Андрей не сказал ему ни слова.

Осенью предшествующего года семья Андрея переехала из Лукьяновки в Никольскую Слободку на левом берегу Днепра, за пределами города, хотя и у самой его границы. Андрей еще не вполне освоился на новом месте. Он играл на улице с сыновьями лавочников и еврейскими мальчиками (в Никольской Слободке евреи проживали без ограничений), но настоящих товарищей у него не появилось. Должно быть, он соскучился по Лукьяновке, где бегал с лучшими друзьями: Женей, Иваном, сыном извозчика, и Андреем Майстренко,

мать которого работала в казенной винной лавке. Но все вместе они редко играли — Женя с Андреем предпочитали проводить время вдвоем.

По величественному почти восьмисотметровому Николаевскому цепному мосту, на тот момент самому длинному в мире, Андрей перешел на другую сторону Днепра. Чем он потом занимался, выяснить не удалось. Позднее он добрался до Лукьяновки, постучался к Чеберякам, и Женя вышел с ним поиграть.

Еще не было семи утра, когда фонарщик Казимир Шаховской, залив керосин в фонари на своем участке, шел домой с лестницей на плече. Жил он на Половецкой улице, шагах в пятидесяти от дома Жени Чеберяка на Верхней Юрковской. Шаховской только что получил от подрядчика рубль жалованья авансом. Когда он пришел домой, Ульяна, его жена, отправилась с рублем в лавку. По дороге она увидела Андрея с Женей — они стояли на углу Половецкой и Верхней Юрковской, разговаривали и ели конфеты. Она заметила, что Андрей был без пальто, а в руках у него связка книг.

Вышедший позже из дома Шаховской тоже встретил Андрея с Женей — они стояли на тротуаре и разговаривали чуть подальше того места, где их видела Ульяна. Казимир обратил внимание, что Андрей держал в руках баночку «длиной в вершок» (то есть 4,4 сантиметра) с чем-то черным — Шаховской не сомневался, что с порохом, который тот, возможно, купил на рынке. «Увидя меня, он подбежал ко мне и, ударив меня рукой по плечу, спросил меня: куда я иду, — вспоминал Казимир. — Ударил он меня довольно больно, так что я даже рассердился и... сказал, что ему нет дела до того, куда я иду». Обернувшись, Шаховской выругался: «Байстрюк!» (так тогда называли незаконнорожденных).

Если Андрея это и задело, он не подал виду. «Дяденька, куда идешь, возьми меня с собой», — умолял он. Казимир шел

ловить щеглов, которых продавал на рынке; у Андрея была сеть, и ему нравилось ловить птиц, поэтому он так хотел присоединиться к Шаховскому. Но фонарщик пошел прочь, не ведая, что он последний, кто видел мальчика живым.

Вскоре после обнаружения трупа в дверь к Менделю Бейлису, жившему на Верхней Юрковской улице в двухэтажном доме у ворот завода, где располагалась и его контора, постучали. Евреи, исповедовавшие иудаизм, могли жить только в пятнадцати западных губерниях в пределах так называемой черты оседлости, куда не входил Киев. Ограничения снимались при переходе в христианство. Бейлис с семьей получил от властей дозволение жить в Киеве и особую привилегию проживания в этой части города лишь благодаря покровительству Ионы Зайцева, владельца кирпичного завода.

Открыв дверь, Бейлис увидел русского соседа, который пришел к нему в гости. Бейлис знал, что тот был членом антисемитской «Черной сотни», но это обстоятельство не мешало им общаться. Бейлис хорошо ладил с соседями-христианами и находился в дружеских отношениях по меньшей мере с еще одним черносотенцем. Люди, ненавидевшие евреев как народ, прекрасно уживались с отдельными его представителями.

Сосед сообщил странную новость: в газете его организации было написано, что Андрея Ющинского для «ритуальных» целей убили евреи. Бейлис не воспринял сообщение соседа как угрозу для себя и других евреев, хотя не исключено, что тот хотел дружески предостеречь Бейлиса, намекая на возможные антиеврейские меры в связи с убийством мальчика.

Мендель Бейлис, проживший в Киеве пятнадцать лет, лишь однажды ощутил смертельную опасность из-за своего еврейского происхождения — во время ужасного погрома

1905 года, когда разъяренные толпы убили десятки евреев и разнесли почти все еврейские дома и предприятия, вплоть до самых жалких ларьков. Когда толпа начала буйствовать, местный священник распорядился, чтобы дом Бейлиса охраняли. Бейлис оказывал священнику некоторые услуги, в том числе договорился, чтобы ему продали кирпич на строительство школы для сирот по более низкой цене, и разрешил похоронным процессиям проходить по территории завода — кратчайшей дорогой к кладбищу. Владелец другой расположенной неподалеку фабрики, христианин, отказал священнику в этой просьбе, и тот часто напоминал своей пастве, что еврей помог ему, а христианин — нет. После погрома Шолом-Алейхем, крупнейший еврейский писатель и уроженец Киева, писал дочери, что не пощадили никого: «Они избili наших миллионеров — Бродских, Зайцевых...» Получилось, что особняки Зайцевых и еще более зажиточных Бродских в одной из лучших частей города были разорены — а дом Бейлиса оказался одним из немногих нетронутых еврейских жилищ в Киеве.

Когда улеглись революционные и антисемитские беспорядки 1905 года, возобновил работу и кирпичный завод. Иона Зайцев, сахарный магнат, вкладывал доходы от фабрики в поддержание еврейской хирургической больницы, передового медицинского учреждения, оказывавшего бесплатную помощь неимущим пациентам всех вероисповеданий и построенного на средства Зайцева в 1894 году в честь бракосочетания Николая II и Александры Федоровны. Он и другие видные евреи надеялись, что подобные полезные учреждения послужат доказательством заботы киевских евреев об общем благе и их лояльности режиму. Погром 1905 года стал катастрофическим шагом назад, но благотворительная больница продолжала работать. Можно сказать, что,

работая заводским приказчиком, Мендель Бейлис тоже прилагал усилия, чтобы завоевать расположение русских людей и государства.

Через неделю после случившегося Андрея похоронили на кладбище Лукьяновки. Панихиду служил бывший духовник Андрея, который, произнося нараспев слова православного богослужения, вдруг заметил, что в открытую могилу летят клочки бумаги. Это были листовки, которые гласили, что Андрюшу Ющинского «замучили жида», каждый год перед своей Пасхой (еврейская Пасха в том году выпала на 31 марта) убивающие христианских детей, чтобы смешать христианскую кровь с мацой и таким образом отпраздновать смерть Спасителя, которого они замучили, распяв на кресте.

Судебные доктора нашли, что Андрея Ющинского перед страданиями связали, раздели и голого кололи, причем кололи в главные жилы, чтобы побольше добыть крови! Жида сделали пятьдесят уколов Ющинскому!

Русские люди! Если вам дороги ваши дети, бейте жидов! Бейте до тех пор, пока хоть один жид будет в России! Пожалейте ваших детей! Отмстите за невинных страдальцев! Пора! Пора!

Вскоре по подозрению в подстрекательстве к насилию и раздаче провокационных листовок полиция арестовала некоего Николая Павловича. Киевская охранка подтвердила, что двадцатидвухлетний Николай «известен отделению» как член черносотенной организации «Союз русского народа» и местного общества правой молодежи «Двуглавый орел». Тайная полиция не спускала глаз с любой сколько-нибудь значимой политической организации, пусть даже внешне преданной царскому режиму. Павлович, время от времени работавший механиком, был мелким преступником и типичным представителем «Черной сотни», в которую входил и

криминальный элемент — люди, не брезговавшие насилием, грабежом и убийством. При этом «Черная сотня» была первым движением правого толка, объединившим все социальные классы России — крестьян, рабочих, духовенство, лавочников, дворян — для защиты царя от его врагов. Николай II благосклонно относился к «Черной сотне». В декабре 1905 года, когда год, принесший России столько потрясений, подошел к концу, он заявил: «Я верю, что с вашей помощью мне и русскому народу удастся победить врагов России».

Черносотенцы появились в хаосе революции 1905 года, поставившей под угрозу существование трехсотлетней династии Романовых. Революционное движение в России зародилось давно, но настоящей революции страна не видела до 1905 года. Правда, сказать, что до первой революции в государстве царили мир и спокойствие, нельзя: предыдущее поколение русских людей фактически изобрело политический терроризм в его современной форме. В 1881 году народовольцы убили Александра II, деда последнего императора; это было первое в истории убийство, совершенное террористом-смертником. При этом «царь-освободитель», отменивший крепостное право, был самым либеральным правителем за всю историю России. В первые годы XX века счет царских чиновников, убитых членами других радикальных организаций, преемниками народовольцев, — прежде всего эсерами, шел на тысячи. С осени 1905 года по осень 1906-го, рекордный по количеству жертв год, число убитых составило 3611. Вкус радикалов к кровопролитию скорее зачаровывал, чем отталкивал значительную часть либеральной общественности, видевшей во взрывах, убийствах и грабежах (или «экспроприациях») акты романтического и героического отчаяния. Сочувствие революцио-

нерам считалось, по словам одного из современников, признаком хорошего тона, показывающим, что человек занимает правильную позицию в истории. В 1905 году революционеры внезапно превратились в серьезную угрозу для одряхлевшего самодержавия, ослабленного войной с Японией.

В этот тяжелый год черносотенные организации по собственному почину занимались охраной порядка или функционировали как военизированные группы, поддерживавшие царский режим. Известно, что черносотенцы творили произвол, подстерегая на улицах людей — особенно евреев и студентов, — которых подозревали в непокорности властям, и заставляя их становиться на колени перед портретом царя. Скандальную славу им принесли жестокие погромы, устроенные по всей империи в 1905–1906 годах, в том числе в Киеве. Вопреки представлениям современников и потомков, историки полагают, что такие акции нельзя считать обдуманными и запланированными. При этом были убиты около трех тысяч евреев, тысячи получили увечья, мародеры набрасывались на людей посреди улицы, разоряли еврейские жилища и предприятия.

Сам Николай II никогда не призывал открыто к насилию в отношении евреев, но так писал матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне в октябре 1905 года:

В первые дни после манифеста нехорошие элементы сильно подняли головы, но затем наступила сильная реакция, и вся масса преданных людей воспряла. Результат случился понятный и обыкновенный у нас: народ возмутился наглостью и дерзостью революционеров и социалистов, а так как девять десятых из них — жидаы, то вся злость обрушилась на тех — отсюда еврейские погромы.

Царь покровительствовал одному из самых одиозных подстрекателей-черносотенцев, «безумному монаху» Илиодору, который пропагандировал идеологию правых в чистом виде, построенную, по словам историка Джейкоба Лангера, на «представлении о евреях как народе, наделенном сверхчеловеческой силой и распространяющем зло в библейских масштабах». Илиодор, живший в Царицыне (нынешнем Волгограде), проповедовал перед многотысячными толпами. Он утверждал, что евреи пьют человеческую кровь, что для них убийство христианина — благочестивый поступок, что Антихрист родится среди евреев, что они прокляты Богом, что от них все зло на свете. «Безумный монах» обладал таким обаянием, что доводил некоторых слушавших его женщин до истерических рыданий.

Премьер-министр П. А. Столыпин в частных разговорах называл Илиодора «фанатиком» и распространителем «черносотенной пропаганды», расшатывавшим авторитет правительства. Но Илиодору удалось втереться в доверие к ближайшему окружению императора. Он заручился покровительством «святого старца» Григория Распутина, гипнотическое воздействие которого на царскую семью на тот момент достигло апогея. Церковь попыталась отослать Илиодора в отдаленную епархию, но царь воспрепятствовал высылке — по его словам, «из жалости» к приверженцам этого праведника.

История Илиодора иллюстрирует парадоксальные правила игры, установившиеся на закате царской России. Мишенью Илиодора оказалась не только «сатанинская шайка» во главе с евреями, но также богатые капиталисты и помещики; он даже призывал казнить премьер-министра. Николай же видел в нем не врага, подрывающего государ-

ственные устои, а одного из «массы преданных людей», защищающей его от «наглости» настоящих врагов, «девять десятых» которых якобы составляли евреи.

Илиодор погубил свою карьеру: он пошел против своего покровителя Распутина, пригрозив предать огласке разврат «святого старца», однако тот действовал искуснее Илиодора, которого в конце концов сослали и лишили сана. Воспользоваться убийством мальчика в своих целях предстояло уже не ему¹.

Андрей лежал в открытом гробу: раны были запудрены, вокруг шеи — лента с кипарисовым крестом, в правом кармане брюк от школьной формы — десять копеечных монет. На похоронах собрались его школьные товарищи и учителя. На холодном ветру стояла тетка Наталья в последней стадии чахотки. Присутствовала и Вера Чеберяк с Женей и двумя дочерьми. Но родители Андрея отсутствовали: в это время его мать и отчим находились в местном полицейском участке под арестом.

В семье Андрея имелись все предпосылки, необходимые для будничной домашней трагедии: внебрачный ребенок, гневливый отчим, слухи о диких скандалах и жестокости. Разговоры с друзьями, соседями, родственниками Андрея могли лишь усилить подозрения следователей. Один из учителей Андрея был уверен, что дома у мальчика не все

1 Всего через несколько лет Илиодор шокировал своих единомышленников, отрекшись от реакционных антисемитских взглядов и написав откровенную автобиографию. Он переехал в Америку, где сыграл самого себя в немом фильме «Падение Романовых», судился за права на свою книгу, потом вернулся в Россию, а в 1923 году снова перебрался в Америку, став баптистским проповедником. Умер в Нью-Йорке в 1952 году.

благополучно, отмечая его «заморенность» и «худобу», равно как и то, что «он был скрытен, ни с кем не сходил, держался особняком... в коридоре один ходил». Одноклассники знали, что Андрей часто приходил в школу голодным. Многие свидетели рассказывали, что мать била Андрея. Женя Чеберяк утверждал, что била «немножко, и до крови его никогда не била», но пожилой сосед утверждал, что мать «с ним скверно обращалась», и мальчик спасался от матери у тетки. Это подтвердил и один из школьных товарищей Андрея.

«Так как детей у меня нет, я очень полюбила незаконного сына моей родной сестры... Андрюшу... которого я решила воспитать и вывести в люди», — рассказала на допросе Наталья, которая через несколько месяцев сама умерла от чахотки. Обладая редким предпринимательским талантом, эта женщина организовала у себя дома собственную мастерскую, занимавшуюся изготовлением декоративных коробок для магазина на Крещатике. Мастерская приносила скромные доходы, но позволяла Наталье оплачивать обучение племянника.

Наталья фактически заменила Андрею мать, которую мальчик с раннего детства называл исключительно Сашкой. Не поделившись своими подозрениями с полицией, Наталья озвучила их в присутствии местного трактирщика Добжанского, который хорошо знал Андрея — когда у мальчика появлялось несколько свободных копеек, он заходил в пивную, чтобы позавтракать одним яйцом. Под присягой Добжанский показал, что, когда нашли труп Андрея, Наталья в полном отчаянии заявила: «Убили мальчика никто как свои».

На данном этапе вести следствие предстояло сыщику Евгению Мишуку, начальнику Киевского сыскного отделения, который работал в правоохранительных органах около двадцати лет и компетентность которого вызывала сомнения, а

методы заслуживали порицания. Мищук отличался легковерием, опрометчивостью, неуклюжестью в политических делах — качествами, делавшими его уязвимым для врагов. Ему суждено было пасть первой жертвой заговора тех, кто стремился посадить на скамью подсудимых именно еврея. Мищук искренне полагал, что в преступление замешаны родственники, решительно отвергая «ритуальную» версию, — и с неумолимым рвением стремился доказать свою правоту.

Двадцать четвертого марта, через четыре дня после того, как нашли тело Андрея, Мищук арестовал Луку Приходько и его жену Александру, которая была на пятом месяце беременности, а также брата Александры Федора Нежинского, обвинив их в убийстве мальчика.

Заклучив под стражу мужа и жену, Мищук начал активный поиск вещественных доказательств. 25 и 26 марта полиция обыскала дом Приходько, действуя не более искусно, чем в пещере. «Все разбили и разгромили», — позднее показала на допросе бабушка Андрея. Она пыталась остановить полицейских, но напрасно: «Я, конечно, кричала, плакала, говорила — что вы делаете? Говорили, что прикладом убьют». Они отковыряли от стен семь кусков штукатурки с темными пятнами и забрали некоторую одежду Александры и Луки, тоже запачканную чем-то, напоминающим по цвету кровь. Александру допрашивали двенадцать дней из тех тринадцати, что она провела под арестом, с девяти утра до часу или двух ночи. Мищук докладывал, что, «будучи допрошена по этому поводу, Александра Приходько сначала заявила, что это не кровь, а затем стала говорить, что таковая могла попасть на платье при кровотечении из носа». Луку и Александру отпустили 5 апреля. Пятна на стенах и одежде оказались от овощного сока. Следов крови в квартире обнаружено не было. Вернувшись домой, они, по словам Луки, увидели, что все

«вскопано, все переверочено, все сломано». «Это было время, когда я не знал, жить мне или умереть», — сказал он на суде.

Через некоторое время после визита соседа-черносо-тенца, сообщившего ему о подозрении, что Андрея убили евреи, Бейлис узнал, что следователи подозревают семью Андрея. Бейлису было известно, что Мищук и другие сыщики отвергли «ритуальную» версию, а родные Андрея оставались главной мишенью следствия еще не одну неделю после их ареста и освобождения. К тому же он, вероятно, вскоре услышал и о новой подозреваемой — его соседке Вере Чебе-ряк. Это имя было ему знакомо. Ее дом находился в несколь-ких десятках метров от его дома, и Бейлис был о ней наслышан.

■ «Вендетта сынов Иакова»

Вскоре после похорон Андрея Юшинского в город пришла весна. К Пасхе «холодная и пасмурная погода сменилась чудными весенними теплыми днями», словно, как ликующе писала газета «Киевлянин», сама природа радовалась празднику.

Для евреев, живших в Российской империи, пасхальная неделя всегда таила в себе опасность. Некоторые самые страшные погромы приходились именно на праздничные дни. В тот год, после убийства Андрея, погром казался почти неминуемым. Девятого апреля, накануне Пасхи, в газете «Земщина» появилась статья «Ритуальное убийство». Ссылаясь на якобы преданные огласке результаты вскрытия, автор статьи утверждал: «Совокупность имеющихся данных с полной несомненностью устанавливает, что мы имеем дело с ритуальным убийством, совершенным еврейской сектой хасидов».

Речь шла уже не о листовках, разбросанных провокатором на похоронах, а о статье в газете, контролируемой Н. Е. Марковым, одним из самых видных черносотенцев, депутатом Государственной думы, будущим председателем Союза русского народа. Статью «Ритуальное убийство» перепечатали многие газеты, в том числе почти столь же праворадикальные, но имевшие куда более обширную аудиторию «Московские ведомости». Эта газета в заметке, сопровождавшей статью, писала, что по Киеву ползет «тревожный слух»: не исключено, что следствие закроют, а преступники останутся безнаказанными. Автор заметки сетовал: «Наша юдофильская печать старается... свалить вину... на кого угодно другого, только не на лиц еврейского племени и веры». И призывал к действию, заявляя: «Не может

скрывать пособничество [евреев] употреблению человеческой крови в ритуальных кушаньях... Кровь несчастных Ющинских вопиет к Небу».

Затянувшееся расследование подогревало ярость черносотенцев. Прошел почти месяц с момента обнаружения тела, когда Василий Фененко, следователь по особо важным делам Киевского окружного суда, объявил, что полиция зашла в тупик. Следователи ни на шаг не приблизились к установлению личности убийцы (или убийц) Андрея. Четырнадцатого апреля 1911 года Фененко разослал по местным киевским газетам обращение к гражданам:

По этому делу ни обстановка убийства, ни мотивы его до настоящего времени не выяснены, а... розыски затрудняются недостаточностью имеющегося по делу матерьяла. В виду этого судебный следователь просит всех лиц, располагающих какими-либо сведениями по этому делу, сообщить ему таковые или словесно, или письменно с указанием своего адреса.

Фененко был уполномочен пересмотреть ход расследования. Внешней причиной для его назначения стал необычный характер убийства. Однако, по некоторым признакам, выбор пал именно на Фененко отчасти потому, что от него ожидали беспрекословного исполнения указаний сверху. Но если начальники из Киевской судебной палаты назначили Фененко именно по этой причине, они просчитались. Фененко был не тем человеком, который послушно исполняет приказы наперекор здравому смыслу и против совести. Фененко, всю жизнь проживший холостяком вместе с воспитавшей его няней, в свои тридцать шесть был вступившим в зрелый возраст уважаемым человеком. Все свидетельствует о его честности, компетентности и неподкупности. Может быть, он порой держался излишне самоуверенно, но действительно хотел справедливости. Порядочность Фененко

считал своим главным достоинством. Однако в ходе следствия стало ясно, что это качество ценится не всегда.

К середине апреля Фененко оказался в крайне затруднительном положении. Черносотенцы ругали следователей за некомпетентность и непочтение к памяти Андрея. В определенном смысле их негодование было обоснованным. Мищук начал вести дело неудачно. Полиция жестоко обошлась с родными Андрея. В глазах киевских праворадикалов полицейские были виноваты и в других оскорбительных для русского народа действиях. Николай Павлович, по их мнению, на похоронах мальчика всего лишь пытался предостеречь народ от опасности, исходящей от евреев. Правда, некоторых его товарищей-«орлят» — членов местной праворадикальной организации «Двуглавый орел» — тоже задержали, полиция провела обыск в их штаб-квартире. Обращение Фененко к гражданам с просьбой о помощи следствию доказывало в лучшем случае его некомпетентность, а в худшем (чему верили особенно охотно) — причастность к мировому еврейскому заговору. Мотивы преступления и происхождение злоумышленников для правых радикалов были не менее очевидны, чем почти полсотни ран на теле Андрея.

В действительности труп мальчика свидетельствовал не о методичном отправлении некоего кровавого ритуала, а об убийстве, совершенном в припадке бешенства, без какой-либо рациональной причины, кроме, возможно, мести.

Судебный медик представил отчет о вскрытии 25 апреля. Патологоанатомы установили, что первые раны Андрею нанесли неожиданно, сзади. По непереваренным остаткам борща в кишечнике определили приблизительное время смерти — три-четыре часа после завтрака. Признаки сопротивления отсутствовали. Предполагаемым орудием убийства эксперты назвали шило с четырехгранной иглой, наконечник

которого ранее ломался, а затем был снова заточен, то есть незатейливый рабочий инструмент.

В отчете перечислялись многочисленные повреждения, нанесенные Андрею:

А. Наружный осмотр.

Повреждения. После того, как волосы на голове были острижены у самой кожи, на мягких покровах головы, по очистке их от приставших глины и кровяных сгустков, на середине темени обнаружено 4 ранения кожи щелевидной формы длиной от 7 до 3-х мил., такого же характера щелевидное отверстие длиной 4 мил. имеется на коже левого виска, весь правый висок покрыт точечными уколами, каковых имеется 14, уколы эти по наружному краю расположены в одиночку, а по внутреннему они расположены правильными рядами... На правой стороне шеи по сторонам кивательной мышцы имеется 4 щелевидных ранения длиной около полсант. каждое, такое же ранение имеется под левой стороной нижней челюсти и два таких же ранения имеются в области кадыка и 2 укола на левой щеке.

На левой стороне груди между соском и подреберьем имеется 7 уколов; 8 уколов имеется на середине мечевидного отростка. На правом боку по подмышечной линии имеется 5 уколов; На правой стороне спины по лопаточной линии между подреберьем и тазом имеется 4 укола...

А. М. Карпинский, местный судебно-медицинский эксперт, обнаружил на теле в общей сложности пятьдесят ран. По итогам второй экспертизы было определено, что ран было сорок семь, и именно такая цифра фигурирует в официальных данных; отмечалось, что на правом виске не четырнадцать, а тринадцать ранений. По общему мнению

экспертов, уже первые раны — головы и шеи — были смертельными. Сопоставив отверстия в ткани с ранами на голове мальчика, эксперты впоследствии установили, что Андрей слегка сдвинул фуражку на затылок и по-мальчишески заломил ее налево — в этом положении она находилась при первых ударах, пробивших череп сверху, из-за чего фрагменты костей попали в черепную коробку: острое шила проткнуло твердую мозговую оболочку и проникло в ее синусы, по которым от мозга отводится кровь. Затем последовали ранения в шею, вызвавшие обильное кровотечение. Хотя удары в голову и в шею в конце концов привели бы к смертельному исходу, мальчик умер не сразу. Смерть наступила лишь через двадцать-тридцать минут, от ранений в сердце. В одном месте убийца так глубоко и с такой силой вонзил оружие в сердце, что рукоятка оставила отпечаток на коже.

В Киеве и в Петербурге, столице империи, угроза погрома тревожила государственных чиновников не меньше, чем киевских евреев. Хотя ход судебного разбирательства в следующие два с половиной года не дает особых оснований говорить о симпатии властей к евреям, высшие царские чиновники впервые всерьез задумались, как предотвратить насилие по отношению к ним. Ими двигало отнюдь не сострадание. Главной задачей режима было сохранение общественного порядка. Все это время, вплоть до окончания процесса, власти следили за тем, как бы суд не спровоцировал волнения в русском обществе в эту крайне беспокойную пору.

Уже через несколько дней после обнаружения тела в Петербурге обратили внимание на убийство и обеспокоились возможными погромами и беспорядками. К 27 марта, дню похорон Андрея, копии отчетов о расследовании лежали на столе министра юстиции И. Г. Щегловитова. Первого апреля

Министерство внутренних дел поручило киевскому губернатору держать товарища (заместителя) министра П. Г. Курлова в курсе событий.

Трудно было найти более одиозную фигуру, чем генерал Курлов, совмещавший должности товарища министра, начальника корпуса жандармов и директора Департамента полиции. В 1905 году, во время еврейских погромов, Курлов занимал пост минского губернатора. Он жестоко подавлял выступления несогласных с правительственным курсом и не преследовал мародеров.

Тринадцатого апреля киевский губернатор А. Ф. Гирс телеграфировал генералу Курлову, предупреждая о возможных погромах. Помимо прочего, Гирс сообщал, что 17 апреля праворадикалы планировали отслужить публичную панихиду по убитому мальчику.

Власти погромов не хотели. Но как им помешать? Какими действиями можно было удержать головорезов? Предпримет ли Курлов меры для защиты еврейского населения? Или позволит вершить самосуд, как это сделал в Минске шестью годами ранее, когда более сотни евреев были убиты, около пятисот ранены, а его люди открыли огонь по большой группе евреев-демонстрантов?

На телеграмму Гирса генерал Курлов ответил четко и недвусмысленно:

Поддержанию порядка должны быть приняты самые решительные меры, ибо погром ни в каком случае допущен быть не может.

Получив ответ Курлова, местные власти запретили проводить публичную панихиду. Однако, несмотря на запрет, 17 апреля у могилы Андрея собралась толпа из примерно полтора десятка рьяных членов Союза русского народа. Тем не менее все прошло мирно: когда служивший панихиду

священник намекнул, что к убийству причастны евреи, стоявший рядом городской предупредил его, что «такие речи разжигают лишь страсти». И толпа разошлась без происшествий.

Тем временем Павловича и других задержанных «орлят» отпустили «за неимением улик». Особо из них выделялся девятнадцатилетний Владимир Голубев, студент Киевского университета, секретарь молодежной организации «Двуглавый орел» и сын профессора Киевской духовной академии. Фанатично искренний в своих антисемитских убеждениях, он был человеком принципа, историк Сергей Степанов называет его «идеалистом-черносотенцем». Однажды, узнав, что железной дорогой владеют в основном евреи, он отказался покупать билет на поезд и демонстративно прошагал пешком вдоль рельсов несколько десятков верст. Поиски убийцы Андрея Ющинского стали его навязчивой идеей, и он начал свое независимое расследование, не сомневаясь, что убийца мальчика — еврей. Он даже провел одну ночь в пещере, где найдено было тело. Враги Голубева утверждали, что он сделал это на спор, но не исключено, что он рассчитывал узнать что-то о преступлении с помощью мистических откровений.

Усилия принесли плоды. «Студент Голубев», как его неизменно называли, стал новым воплощением архетипа, существовавшего уже восемь столетий: упрямого христианина, видящего в нераскрытом убийстве чудовищный еврейский заговор.

Голубев пошел по стопам валлийского монаха Томаса Монмутского, жившего в XII веке, который примерно в 1149 году взялся расследовать убийство Уильяма из Норвича, двенадцатилетнего подмастерья скорняка, найденного мертвым пятью годами ранее, в 1144 году, за день до Пасхи. Именно Томас Монмутский положил начало средневековому мифу о еврейских ритуальных убийствах: в 1150 году он

закончил работу над первой частью «Жития и чудес святого Уильяма Норвичского» (*The Life and Miracles of St. William of Norwich*), в котором и изложил легенду о ритуальном убийстве как атрибуте еврейской Пасхи, оставившую глубокий след в сознании западного человека.

Самым клеветническим и зловещим элементом таких историй оказалась фигура еврея-отступника, публично рассказавшего о тайном ритуале своего народа, основанном на иудейском законе. Томас якобы узнал от крещеного еврея, монаха по имени Теобальд, что испанские евреи ежегодно собираются во французском городе Нарбоне (одном из важнейших центров еврейской учености с большой долей еврейского населения), чтобы подготовиться к ежегодному жертвоприношению, предписанному древними текстами.

Теобальд поведал Томасу, что, по убеждению евреев, без пролития христианской крови им не обрести свободы и они не смогут вернуться в землю отцов. Поэтому «ради осмеяния и поругания Христа» они должны приносить в жертву христианина. Еврейские старейшины, собирающиеся в Нарбоне, бросают жребий, выбирая между всеми странами мира, где живут евреи; в 1144 году жребий выпал на Норвич, и синагоги Англии дали согласие на то, чтобы именно в этом городе свершилось задуманное. Так Томасу удалось обеспечить Уильяму славу мученика, убитого иудеями. Миф о ритуальных убийствах распространился по Англии и даже увековечен в ее культуре, как показывает «Рассказ аббатисы» Джеффри Чосера, повествующий о мученичестве набожного семилетнего мальчика-христианина:

Его схватил, скрутил на месте прямо,
И, горло перерезав, бросил в яму.
Ведь к небу вопиет такая кровь...

В чистом виде обвинение в ритуальном убийстве прозвучало в 1235 году в немецком городе Фульде. В тот год на Рождество, когда мельник с женой были в церкви, у них сгорела мельница, а с нею пятеро сыновей. Жители Фульды обвинили иудеев в том, что, прежде чем устроить пожар, они умертвили детей, перелив их кровь в специальные восковые сосуды для некоего обряда или снадобья. Двадцать восьмого декабря 1235 года тридцать четыре иудея из Фульды были убиты — по одним свидетельствам, разъяренными горожанами, по другим — крестоносцами, — став первыми известными нам жертвами обвинений в ритуальном убийстве. Кто пустил лживые слухи об использовании евреями человеческой крови в ритуальных целях, неизвестно. Возможно, тут дело в распаленном воображении жителей Фульды, а может быть, местные жители услышали эту клевету от проходивших через город в 1235 году крестоносцев.

Правители европейских стран быстро осознали, какую опасность для государства таит в себе новый миф. Фридрих II, император Священной Римской империи, попытался искоренить легенду, разжигавшую ненависть к иудеям, и утихомирить разгневанных; за помощью он обратился к крещеным евреям, но с противоположной, чем у Томаса Монмутского, целью. В 1236 году, через несколько месяцев после резни в Фульде, император созвал со всей Европы евреев, перешедших из иудейской веры в христианскую. Ни в одном священном иудейском тексте они не обнаружили «жажды человеческой крови». Опираясь на их суждение, Фридрих объявил фульдских иудеев оправданными и запретил своим подданным впредь выступать с такими обвинениями. За императорским эдиктом последовала булла папы Иннокентия IV, в которой обвинения в ритуальных убийствах были названы лживыми. Однако с того момента, как этот вымысел поселился в сознании людей, остановить его

распространение не мог никто, даже наместник Христа на земле, при всей его предполагаемой непогрешимости.

Голубев не ведал о своем предшественнике Томасе Монмутском, но, по всей видимости, был знаком с псевдонаучной антисемитской литературой, ходившей по России, а значит, и с историей пяти умерщвленных в Фульде братьев, а также Андреаса Окснера, убитого в 1462 году, и Симона Трентского, убитого в 1475 году мальчика, случай которого закрепил основные черты обвинений в ритуальных убийствах и утвердил мотив христианской крови, якобы используемой евреями для приготовления мацы на иудейскую Пасху. Голубев, разумеется, слышал и о скандальных случаях последних тридцати лет — почти все они произошли на Западе.

Утверждение о ритуальных мотивах убийства Андрея Ющинского вскоре заставит Запад осудить царизм за то, что тот скатывается к средневековым предрассудкам и жажде мести. Однако в пылу негодования многие на Западе забыли, что в самых «цивилизованных» частях Европы незадолго до того наблюдался мощнейший за последние триста лет всплеск обвинений иудеев в ритуальных убийствах. По достоверным подсчетам, за 1891–1900 годы в Европе было зафиксировано 79 случаев такого рода, когда обвинения в ритуальном убийстве дошли до властей и широко распространились среди населения. Из них всего пять инцидентов произошли на территории Российской империи. Больше всего таких случаев было в Австро-Венгрии (тридцать шесть) и Германии (пятнадцать). Причем лишь в единичных случаях эти дела рассматривались в суде. В 1879 году в Кутаиси девять иудеев были обвинены в убийстве шестилетней девочки. В 1882 году в Венгрии прогремело Тисаэсларское дело: сторожа синагоги обвинили в убийстве четырнадцатилетней девочки-служанки. В 1891 году в Ксантене (Пруссия) мясник-еврей был

обвинен в убийстве пятилетнего мальчика, найденного с перерезанным от уха до уха горлом. В 1899 году в Польне (Богемия) двадцатидвухлетнего подмастерья сапожника судили по обвинению в убийстве девятнадцатилетней швеи. В 1900 году в Конице (Пруссия) еврейского мясника и скорняка обвинили в убийстве и расчленении восемнадцатилетнего гимназиста.

За исключением процесса в Польне, который привел к двойному результату (обвиняемого осудили, но государство официально опровергло утверждение о ритуальных мотивах), остальные процессы закончились оправданием подозреваемых. При этом в XVIII–XIX веках ни в одной европейской стране правительство не поддерживало «ритуальных» обвинений.

Власти стремились удержать не в меру прыткого «студента Голубева» от подстрекательства к насилию. Они вырвали у него обещание, что по крайней мере до конца лета он не предпримет никаких действий, которые спровоцировали бы агрессию в отношении евреев. Помощник начальника Киевского охранного отделения в середине апреля докладывал начальству:

...У нас все благополучно. Голубев поутих. Решили они отложить свое выступление до отъезда государя из Киева [в августе царь планировал посетить город. — Э. Л.]; ...Бить жидов... отложили до осени.

Но хотя Голубев и «поутих», киевские евреи (а также правительство) ощущали, что угроза погрома не отступила.

Министр юстиции И. Г. Щегловитов обсуждал этот вопрос и с премьер-министром П. А. Столыпиным, и с царем. Восемнадцатого апреля он отправил в Киев телеграмму, передав дело под личный надзор Г. Г. Чаплинского, прокурора

Киевской судебной палаты. Щегловитов обязал Чаплинского регулярно и подробно доносить ему о ходе следствия.

В тот же день правые депутаты Госдумы тайно собрались обсудить резолюцию, требующую от правительства признать убийство Ющинского ритуальным.

Суббота, 23 апреля, ознаменовалась первыми серьезными насильственными действиями в отношении евреев. На левом берегу Днепра в Никольской Слободке, значительную часть населения которой составляли евреи и в которой жил Андрей, головорезы «Черной сотни» начали нападать на евреев на улицах. В Киеве стало неспокойно. Киевских евреев — по крайней мере «тех, кто интересуется чем-то, кроме сахара и биржевых операций», как съезвил журналист газеты «Хайнт», — охватил страх ожидания погрома. Насмешка была направлена в адрес еврейских завсегдатаев Киевской биржи, занятых покупкой и продажей «сахарных» акций.

Двадцать девятого апреля праворадикалы огласили в Думе свою резолюцию, обвинив киевские власти в том, что те мешают расследовать убийство Ющинского. Власти, говорилось в резолюции, теряют время, идя по ложному следу, терзают бедную мать мальчика, закрывая глаза на «преступную секту иудеев, употребляющую для некоторых религиозных обрядов своих христианскую кровь». По меркам черносотенцев, документ получился весьма сдержанным. Н. Е. Марков, лидер черносотенцев, взошел на трибуну, чтобы озвучить требования своих сторонников. Огромного роста, темноволосый, курчавый, он, как говорили, походил на Петра Первого, за что его прозвали Медным Всадником. Взгляды Маркова были радикальными даже по сравнению с его правыми единомышленниками: он был одним из немногих, кто поднимал вопрос о выселении евреев из России.

...Надо преследовать всю эту зловредную секту, секту иудейскую, которая собирает детскую кровь в чашки, в

чашки собирает кровь, истекающую из зарезанных детей, и рассылает эту кровь по иудеям — лакомиться пасхальным агнцем, — лакомиться пасхой, изготовленной на крови христианских младенцев! —

ораторствовал Марков. Правительство, по его словам, предложило ему и его единомышленникам не тревожиться, поскольку дело ведет опытный следователь, которому помогает весь аппарат судебной палаты, однако судебные органы не оправдали доверия:

В тот день, когда при вашем соучастии, господа левые, русский народ убедится окончательно в том, что... уже нет возможности обличить на суде иудея, режущего русского ребенка и вытаскивающего из него кровь, что не помогут ни суды, ни полицейские, ни губернаторы, ни министры, ни высшие законодательные учреждения, — в тот день, господа, будут еврейские погромы. Но не я их накличу, эти погромы, и не Союз русского народа, вы сами создадите погром, и этот погром не будет таким, какие бывали до сих пор, это не будет погром жидовских перин, а всех жидов начисто до последнего перебьют.

В ответ депутат от социал-демократической партии под вызывающие окрики со стороны правых назвал Союз русского народа «бандой убийц и грабителей». Либералы и подавляющее большинство консерваторов раскритиковали подстрекательство к насилию и пропаганду параноидальных средневековых фантазий, позорящих Россию. Резолюция не была принята при ста восьми голосах против и девяноста трех — за. Но небольшой численный отрыв в глазах черносотенцев означал, что с моральной точки зрения они одержали верх.

После выходки Маркова киевские евреи готовились к худшему. «Два самых страшных дня» после дебатов в Думе —

суббота, 30 апреля, и воскресенье, 1 мая, — по словам киевского корреспондента «Хайнт», «прошли в необычайном унынии», в еврейских районах «стояла непривычная мертвая тишина». Евреи, располагавшие достаточными средствами, перебирались в гостиницы, где могли ощущать себя в относительной безопасности. Сотни еврейских семей поспешно уезжали из города.

Тройная атака черносотенцев на режим — в прессе, в Думе и на киевских улицах — вызвала серьезное беспокойство высших царских чиновников. Учитывая беспомощность местных следователей, занимавшихся убийством Андрея Ющинского, делом больше нельзя было руководить на расстоянии. Правительство решило взять его под свой непосредственный контроль.

Девятого апреля 1911 года, когда в Думе обсуждали резолюцию правых, А. В. Лядов, представитель Министерства юстиции, сел в поезд, направлявшийся из Петербурга в Киев. Лядов, человек бесцветный и безликий, был вице-директором 1-го департамента Министерства юстиции и главой 2-го уголовного отделения. Однако сложные сюжеты зачастую требуют хотя бы одной чисто функциональной фигуры, и за отведенное ему ограниченное время Лядову удалось привести в движение основные механизмы.

Какие именно инструкции дал Лядову его начальник, министр юстиции Щегловитов, неизвестно. Если они и существовали в письменной форме, то утрачены. Но скорее всего, Щегловитов проинструктировал своего подчиненного на словах. Во-первых, Лядов призван был успокоить «студента Голубева», который мог в любую минуту спровоцировать погром. Во-вторых, Лядову надлежало убедиться, что дело ведет человек, обладающий авторитетом: неуклюжего Мищука необходимо было заменить следователем с безупречной репутацией.

На следующий день по приезде Лядов вызвал к себе в гостицу Голубева вместе с прокурором судебной палаты Чаплинским. Студент-черносотенец был настроен недружелюбно, с Чаплинским он говорить отказался. Однако Лядову удалось его разговорить и объяснить, почему погромы в Киеве крайне нежелательны.

Лядов. ...Генерал-губернатор мне говорил, что ожидается государь на открытие памятника Александру II. Если кто-нибудь из ваших сообщников учинит погром и будут беспорядки в Киеве, то этих торжеств вам не видеть, как своих ушей, а вероятно вам и вашему союзу более всего приятно видеть у себя государя.

Голубев. Эта мысль мне не приходила в голову. Я вам обещаю, что еврейского погрома не будет.

При этом Голубев не упомянул, что двумя неделями ранее слышал подобные увещания в Киевском жандармском управлении. Лядов докладывал министру юстиции:

Опасения погрома и желание во что бы то ни стало не допустить его [со стороны Голубева. — Э. Л.] вызваны, как я успел убедиться, исключительно боязнью, что если в Киеве будут беспорядки, то не состоится в конце августа приезд государя.

Лядов, похоже, использовал приезд царя как предлог, дававший Голубеву возможность отступить, не теряя лица. Позже, когда вновь возникнет угроза погромов, власти, не прибегая ни к каким отговоркам, быстро их предотвратят.

Слухи, сопровождавшие ход следствия, успокоили занимавших заметное положение в обществе киевских евреев. Еврейская пресса сообщала, что благодаря вмешательству Лядова следователи решительно отвергли гипотезу о ритуальном убийстве. Несколькими неделями ранее, когда начала распространяться тревожная молва о готовящихся погромах,

видные представители еврейской общины в Киеве собрались, чтобы обсудить свои дальнейшие действия. Они хотели было предложить вознаграждение за поимку убийцы (или убийц) Андрея, но передумали, опасаясь, что это лишь навлечет на них подозрения. К концу апреля, как сообщала газета «Хайнт», еврейские старейшины сошлись на «тактике молчаливого ожидания». Они согласились «терпеливо воздерживаться от любых действий, способных вызвать гнев недоброжелательных группировок».

Их нельзя назвать наивными людьми. Они верили, что на их стороне история и здравый смысл. Несмотря на весь свой антисемитизм — сегрегацию евреев, вынужденных жить внутри черты оседлости, финансирование «Черной сотни», терпимое, если не поощрительное, отношение к прошлым погромам, — царский режим лишь в отдельных случаях пытался использовать обвинение в ритуальных убийствах. В целом прецеденты такого рода производили крайне неоднозначное впечатление. В 1817 году Александр I одобрил циркуляр, запрещающий вменять евреям в вину ритуальные убийства «без всяких улик, по одному предрассудку, что они якобы имеют нужду в христианской крови». Обвинение должно подкрепляться доказательствами.

Если бы где случилось смертоубийство [ребенка] и подозрение падало на евреев, — гласил указ, — то было бы производимо следствие на законном основании... наравне с людьми прочих вероисповеданий, которые уличались бы в преступлении смертоубийства.

Однако в 1823 году он же приказал начать расследование по аналогичному обвинению в белорусском городе Велиже. Разбирательство длилось больше десяти лет, власти арестовали многих видных евреев и даже закрыли синагогу. Лишь в

1835 году Николай I, преемник Александра, прекратил Велижское дело, несмотря на то что, в отличие от брата, полагал, что «между евреями существуют, вероятно, изуверы или раскольники, которые христианскую кровь считают нужною для своих обрядов».

И все же в предшествующее столетие подобные случаи оставались в России редкими. Единственное «ритуальное» дело, закончившееся обвинительным приговором, когда в 1856 году группу солдат-евреев осудили в Саратове за убийство двух мальчиков, особого внимания к себе не привлекло. Слухи о ритуальных убийствах, бродившие в народе, спровоцировали погромы 1903 года в Кишиневе, но государство тогда не выдвинуло никаких обвинений против евреев. Последнее подобное судебное разбирательство относилось к 1900–1902 годам, когда парикмахера-еврея в Вильне Давида Блондеса обвинили в нападении на служанку, хотя и без покушения на убийство. Женщина уверяла, что Блондесу нужна была ее кровь. Вынося ему обвинительный приговор, суд не признал ритуальным характер преступления (раны женщины сводились к нескольким царапинам). Дело обращало на себя внимание робостью, с какой еврейские старейшины защищали от обвинений своих соплеменников. Когда Блондеса осудили, некоторые евреи и даже один из его адвокатов посоветовали ему согласиться с приговором, предусматривавшим несколько месяцев тюремного заключения. Высказывались опасения, что апелляция послужит лишь в пользу отвратительной клеветы на евреев и вызовет волнения среди христианского населения. Однако по настоянию Оскара Грузенберга, самого известного в Российской империи адвоката-еврея, Блондес обжаловал решение суда и был полностью оправдан.

У Лядова и его киевских коллег в руках было лишь одно свидетельство, на основании которого можно было вести

следствие в направлении ритуального дела: странное письмо, которое получила Александра. Оно было адресовано «Юшинской, матери убитого ребенка». Анонимный автор утверждал:

Вашего мальчика в день убийства я видел идущим по Лукьяновке с каким-то евреем. Неподалеку церкви Св. Федора к ним присоединился какой-то старый еврей... На меня ужас наводит навязчивая мысль... а вдруг правда, что евреям нужна кровь гоя к празднику пасхи и... мальчик будет их жертвой.

Письмо с почтовым штемпелем от 24 марта было подписано «Христианин». Аналогичное письмо получил и следователь. Однако письма «Христианина» в конечном счете принесли больше пользы защите, чем обвинению: было высказано предположение, что они были написаны по поручению истинных убийц и содержат ключ к разгадке.

Полиция собирала сведения в Слободке и в Лукьяновке, где раньше жила семья Андрея, опрашивая многих жителей и потенциальных свидетелей, которые снова и снова пересказывали одни и те же слухи. Вполне типичен осторожный ответ свидетеля Толкачева: «На базаре у нас говорят разное, сначала говорили, будто убила его мать, затем говорили, будто убили Андрюшу жида, а теперь я даже не знаю, что говорят».

Одной из последних, кого полиция допросила на начальной стадии расследования, была Вера Чеберяк, охотно подхватившая злые сплетни. Она и ее шайка находились на тот момент под следствием по обвинению в крупных кражах, в том числе револьверов на сумму в тысячу рублей. Однако следователи видели в Чеберяк в первую очередь женщину, которая вместе с сыном помогла опознать тело Андрея, они не считали нужным связывать ее преступную деятельность с убийством мальчика. Возможно, они изменили бы свое

мнение, если бы знали, что Чеберяк утаила важные сведения: в то утро ее сын Женя отправился играть вместе с Андрюшей. Если бы это обстоятельство открылось, стало бы ясно, что убитого мальчика в последний раз видели живым буквально в нескольких десятках метров от ее дома. Чеберяк не сообщила полиции ничего примечательного, но дала понять, что у нее нет сомнений относительно того, кто убил Андрея. Рассказав о прокламациях, распространявшихся на похоронах, Чеберяк добавила: «Мне и самой теперь кажется, что, вероятно, убили Андрюшу евреи». При этом она признала, что никакими доказательствами не располагает.

Попытке приписать убийство Андрея евреям препятствовали три фактора: отсутствие улик, отсутствие свидетелей и сопротивление двух уважаемых юристов, которым было поручено дело, — местного прокурора Н. В. Брандорфа и следователя В. И. Фененко.

Позднее Лядов утверждал, что у него не было готового мнения относительно сведений, которые ему предстояло собрать. Однако, по словам Фененко, когда в начале мая Лядов позвал его и некоторых других чиновников к себе в гостиницу «Европейская», он заявил, что «министр юстиции не сомневается в ритуальном характере убийства».

Следователь Фененко и прокурор Брандорф считали «ритуальную» версию абсурдной. Результаты вскрытия указывали на убийство в припадке гнева, но никак не на неторопливый, методичный ритуал ради собирания крови. До приезда Лядова из Петербурга 1 мая оба они искали доказательства, которые бы позволили полностью отменить подозрения в ритуальном убийстве. Одним из потенциальных решений представлялась попытка восстановить психологический портрет убийцы (или убийц). В конце апреля, до приезда Лядова, Брандорф посоветовал следователю Фененко обратиться к И. А. Сикорскому, известному профессору

психиатрии, чтобы тот проанализировал все имевшиеся свидетельства. По всей видимости, Брандорф искренне надеялся, что мнение выдающегося ученого поможет покончить с ритуальным обвинением.

Иван Алексеевич Сикорский, почетный профессор Киевского университета Святого Владимира, был одним из наиболее видных русских психиатров. И хотя в скором времени достижения профессора затмил его сын, авиаконструктор Игорь Сикорский, в 1911 году прославившийся изобретением вертолета, заслуги И. А. Сикорского ценили столь высоко, что однажды сам Лев Толстой удостоил его аудиенции в Ясной Поляне. Сикорский был автором работ по общей психологии и многочисленных узкоспециальных трудов на различные темы, от развития детей до влияния усталости на интеллект; его исследования издавались и были широко известны за рубежом. Сикорский начинал как патологоанатом, активно продвигал новую науку криминалистику и систематическое использование психиатрической экспертизы в суде. Его считали экспертом по религиозному фанатизму и народным верованиям: его известная широкой публике работа была посвящена страшному массовому самоубийству на Терновских хуторах, когда старообрядец замуrowал заживо двадцать пять своих единоверцев.

В ту эпоху представители всех слоев русского общества были поглощены беспорядочными духовными поисками, процветали нетрадиционные верования и «богоискательство», желание обрести смысл среди тревог и бедствий современной эпохи. Самый известный богоискатель Лев Толстой умер всего несколькими месяцами ранее, осенью 1910 года: писатель пришел к христианскому анархизму, пацифистской философии, отвергавшей основные догматы православной церкви, что и привело к его отлучению. Духовная жажда влекла богоискателей из интеллигентской и

аристократической среды к мистицизму, спиритизму, восточным религиям и целительству. Николай II и Александра Федоровна, нуждавшиеся в духовном наставнике, в каком-то смысле были типичными богоискателями своего времени. (До Распутина царская чета в 1900–1902 годах тесно общалась с другим мистиком и целителем Филиппом Низье-Вашодом, которого удалили от двора, поскольку он не помог императрице зачать наследника.)

Мировоззрение Сикорского в значительной мере ограничивали псевдонауки того времени, от социального дарвинизма до физиогномики. Сикорский преклонялся перед Гербертом Спенсером, известным британским адептом социального дарвинизма, и, подобно самому Спенсеру, был одновременно приверженцем дарвинизма и ламаркизма, опровергнутой дарвинизмом теории, согласно которой по наследству могли передаваться приобретенные признаки, в том числе навыки предков. В итоге к концу жизни Сикорский придерживался представления, что все расы делятся на «высшие» и «низшие», выражал беспокойство по поводу роста количества евреев в империи и полагал, что именно евреи виноваты в приверженности к алкоголю русского населения.

Ко времени приглашения выступить экспертом в деле Ющинского научная карьера Сикорского пошла на спад, профессора теснили коллеги помоложе. Он ухватился за неожиданный шанс вернуть себе утраченные позиции и решил извлечь из него максимальную выгоду. В заключении по делу он ограничился четким и лаконичным подтверждением «ритуальной» версии.

Лядов осмотрел пещеру, где нашли тело, встретился с профессором Сикорским, и они побывали в анатомическом театре, где им показали сохранные внутренние органы жертвы, после чего они поговорили с доктором Н. А. Оболенским, проводившим повторное вскрытие.

Учитывая неоднозначность случая, власти пригласили доктора Н. А. Оболонского и прозектора Н. Н. Туфанова с кафедры судебной медицины Киевского университета Святого Владимира для проведения независимого осмотра тела. Оболонский и Туфанов не поддерживали гипотезу о ритуальном убийстве, но и не исключали ее. Их заключение отличалось от результатов дознания лишь в одном существенном отношении: они пришли к выводу, что в ходе убийства произошло «почти полное обескровливание тела» и что смерть была вызвана «острым малокровием». Как выяснится позднее, выводы эти были сомнительными.

В Киево-Печерской лавре Лядов встретился с архимандритом Амвросием. Если Голубев, подобно Томасу Монмутскому, играл роль сыщика-христианина, то Амвросий был аналогом еврея-отступника Теобальда, «обращенного врага», выдающего тайные ритуалы своих соплеменников.

Амвросий первым заявил о факте существования ритуальных убийств. Он сообщил:

...Я неоднократно имел случай беседовать по этому предмету [о ритуальном убийстве христиан евреями. — Э. Л.] с несколькими лицами и, в частности, с двумя православными монашествующими, принявшими православие из еврейства... Все эти беседы... выработали во мне мнение, что у евреев, в частности у... хасидов, есть обычай добывать христианскую кровь по преимуществу убиением христианских непорочных отроков. Кровь эта требуется хотя бы в самом ничтожном количестве для приготовления еврейских пасхальных опресноков (маца), в следующей цели. По талмуду, кровь служит символом жизни и по тому же талмуду евреи — единственные господа мира, а все остальные

люди лишь их рабы, и вот употребление в маце христианской крови знаменует, что им принадлежит право даже жизни этих рабов.

С другой стороны, им хочется, чтобы это сознавали и все неевреи, гои, а потому тело христианина, из которого взята кровь, не может быть так уничтожено, чтобы оно исчезло бесследным. Поэтому всегда такие тела евреи устраивают так, чтобы, с одной стороны, не было указаний на место и лица, где и которыми совершено это преступление, а с другой — чтобы гои, найдя со временем тело, не забывали бы, что над их жизнью евреи имеют право, как господа с правом жизни и смерти.

Кроме того, Амвросий заявил, что «всех в таких случаях ран должно быть определенное число и в определенных частях тела, числом приблизительно сорок пять». Давая показания в мае 1911 года, Амвросий признал, что сам не изучал еврейские тексты, якобы предписывающие ритуальные убийства христиан. Более того, он оговорился, что два монаха, от которых он главным образом получил эти сведения, принадлежали к «кантонистам», то есть к евреям, с двенадцати лет призывавшимся в царскую армию, где они служили на протяжении двадцати пяти лет, мало что зная о собственной религии. Тем не менее на Лядова свидетельство Амвросия произвело сильное впечатление.

Восьмого мая профессор Сикорский дал заключение о психологическом портрете преступников. Оно было основано на поразительном истолковании результатов вскрытия:

...Все обнаруженные на теле Ющинского повреждения нанесены уверенной и спокойной рукой, не дрожавшей от страха и не преувеличивающей размера и силы движения под влиянием гнева...

Если Фененко и Брандорф полагали, что почти полсотни ран, нанесенных без видимой цели, указывали на убийство в припадке ярости, то Сикорский усмотрел в преступлении приметы «бездушной и неторопливой работы... быть может, рукою лица, привыкшего к убою животных».

Чаплинский так докладывал об этих потрясающих открытиях министру юстиции:

...Профессор Сикорский, исходя из соображений исторического и антропологического характера, считает убийство Ющинского, по его основным и последовательным признакам — медленному обескровлению, мучительству и затем умерщвлению жертвы — типичным в ряду подобных убийств, время от времени повторяющихся как в России, так и в других государствах. Психологической основой типа такого рода убийств является, по мнению профессора Сикорского, «расовое мщение и вендетта сынов Иакова»...

В отличие от Голубева и Амвросия, Сикорский не был реинкарнацией персонажей прошлого. В драму об обвинении в ритуальном убийстве он ввел новую роль — эксперта-психиатра, — добавив к мифу современную деталь. «Народность, поставляющая это злодеяние, — заключил Сикорский, — будучи вкраплена среди других народностей, вносит в них с собою и черты своей расовой психологии». Раса, генетика, унаследованные модели поведения — Сикорский с псевдонаучной точностью переписал миф на новый лад.

Выводы Сикорского, Амвросия и патологоанатома убедили Лядова в том, «что Ющинский был убит евреями». Но где искать виновного?

Лядов проявил необычайный для чиновника высшего ранга интерес к ходу расследования. Он привлек внимание к

показаниям мальчика Павла Пушки, сообщившего, что Андрей собирался купить порох у еврея из Слободки. По словам Фененко, Лядов дал ему понять, что, «как только будет установлена личность этого еврея, последнего нужно будет привлечь в качестве обвиняемого и заключить под стражу».

Еврея, торговавшего порохом, не нашли, зато обнаружилась другая подходящая кандидатура. Пятого мая 1911 года Голубев сообщил следователям:

Вблизи ее [пещеры. — Э. Л.] расположена огромная усадьба жида Зайцева. Управляющим усадьбой и кирпичным заводом состоит некий жид Мендель... [который] после обнаружения трупа Ющинского держал себя несколько странно: например, раздавал ребятам конфеты и просил ничего полиции не говорить.

Это первое упоминание имени Менделя Бейлиса в материалах следствия. (Как мы помним, Бейлис был не «управляющим», а приказчиком на кирпичном заводе. Все остальное — ни на чем не основанная сплетня.) На следующий день Голубев снова упомянул «какого-то еврейчика Менделя». «Лично мое мнение, что убийство скорей всего совершено или здесь [в усадьбе Зайцева] или в еврейской больнице [примыкавшей к территории завода], — сообщил он властям, добавив с напускным смирением: — Доказательств, конечно, этому я представить не могу».

Но он был намерен заняться их поиском.

■ «Некий жид Мендель»

Четвертого мая 1911 года пристав Николай Красовский, служивший на западе Украины, получил срочную телеграмму, которая гласила: «По распоряжению губернатора немедленно отправьтесь в Киев».

До осени 1910 года Красовский исполнял обязанности начальника киевской сыскной полиции. Эту должность он получил тремя годами ранее после громкого скандала, когда выяснилось, что тогдашний глава сыскного отделения Спиридон Асланов был подкуплен прославленным киевским «королем воров». «Король», колоритный жулик по кличке Цилиндр, похвалялся, что его ежегодный доход составляет сто тысяч рублей, и гордился, что ворует только у состоятельных людей, щедро делясь добычей со своим отрядом карманников, взломщиков и домушников. Подарки, врученные им Асланову, в том числе кольцо с бриллиантами, обеспечивали «королю воров» неизменный успех.

Красовский быстро завоевал уважение, одно за другим раскрывая нераскрытые преступления. К осени 1908 года он снискал славу местного Шерлока Холмса, раскрыв самое сенсационное преступление — убийство в доме Островских. Смерть мужа и жены, заколотых в собственном доме, а вместе с ними их молодого приятеля, прачки и портнихи, потрясла весь город. Шли дни, а убийцы разгуливали на свободе. Василий Шульгин, киевский журналист и политический деятель, вспоминал: «Целых две недели город был как бы под влиянием какой-то черной тучи, которая повисла над ним».

Разогнав эту тучу, Красовский проявил себя как блестящий детектив. Его можно назвать настоящим виртуозом судебной экспертизы. (Сама эта область была развита в дореволюционной России, где химики изобрели способы выявлять следы крови и некоторых ядов, применяемые по

сей день.) Красовский отличался необычайной наблюдательностью. Он мастерски вел допрос. Ростом выше среднего, добродушный с виду, голубоглазый, с пышными усами, неторопливый, он умел разговорить людей — как простой народ, так и преступников. К тому же он был хитер и бесстрашен, умел настоять на своем. Когда сыщики обнаружили драгоценности, предположительно принадлежавшие Островским, в доме известного вора, один Красовский сомневался в его причастности к убийству. Он доказал, что гравировка на драгоценностях была подделана мстительным преступником (не имевшим отношения к убийствам), чтобы подставить своих врагов. В городе с самым высоким в Российской империи уровнем преступности, где два из трех преступлений оставались нераскрытыми, Красовского считали героем, поскольку он выследил и поймал четырех убийц, в том числе одного психопата, признавшегося в еще десяти убийствах и хваставшегося умением заколоть человека, почти не пролив крови.

Красовский, несомненно, заслуживал того, чтобы его назначили не просто «исполняющим обязанности». Но, как часто бывало в ту эпоху, его необычайный талант не был вознагражден. На постоянную должность начальника Киевского сыскного отделения назначили Евгения Мищука, служившего в Петербурге и явно сумевшего там втереться в доверие. Теперь Мищук безнадежно запутал расследование убийства Андрея Ющинского, и Красовского вызвали — почти из изгнания — вести сыск по делу, которому вскоре суждено было стать самым скандальным в ту эпоху.

В этот деликатный момент — после промаха с арестом родных мальчика и на фоне провокационной антисемитской пропаганды — государству потребовался политически благонадежный профессионал с безупречной репутацией. К Красовскому благоволил и Союз русского народа.

Чаплинский, прокурор палаты и главный сторонник «ритуальной» версии, решил, что более подходящего человека не найти. Правда, Чаплинский был назначен в Киевскую судебную палату всего за два месяца до этих событий и толком не знал Красовского; ему нужен был тот, кто сделает, как скажут. В этом отношении назначение Красовского оказалось катастрофической ошибкой.

Красовский неохотно взялся за новое задание. Годом ранее, когда ему пришлось уступить Мищуку должность начальника киевской сыскной полиции, он спокойно обосновался в провинциальном Ходоркове, на месте своего нового назначения. Он настороженно отнесся к приглашению взяться за еще одно громкое дело, усвоив по опыту, что, «кроме интриг и неприятностей со стороны сослуживцев и вообще со стороны окружающих», он ничего от этого не получит. Тревожные предчувствия подтвердились. Лядов, петербургский чиновник, присланный в Киев для пересмотра дела, настоял на том, чтобы участие в расследовании Красовского держали в секрете. Никто не собирался сообщать Мищуку, что тот фактически отстранен от дела. Красовский понимал, что Мищук тем не менее узнает, чем занят давний соперник, и, возможно, попытается отомстить. Усложняло ситуацию и то, что корпус жандармов — тайная полиция, уполномоченная производить аресты без формальных обвинений, — вела собственное расследование. В течение нескольких месяцев вокруг дела образовался клубок интриг и козней.

* * *

Владимир Голубев нашел подходящую кандидатуру на роль подозреваемого в начале мая: его выбор пал на приказчика зайцевского кирпичного завода Менделя Бейлиса. Правда, через несколько дней следствие потеряло

интерес к «жиду Менделю», как называл его Голубев. Получив наводку от Голубева, Фененко осмотрел завод Зайцева и прилегавшую территорию, но ничего там не обнаружил, в том числе подвалов, о которых упоминал Голубев. Фененко раздражала манера Голубева являться к нему в участок без предупреждения и разглаживать о евреях, крови и убийствах. Однако Лядов настаивал на том, чтобы к Голубеву относились с уважением и давали ход всем его «подсказкам». Одиннадцатого мая, докладывая министру юстиции о положении дел, Чаплинский упомянул подозрения, касавшиеся Менделя, но отметил:

...Все допрошенные за последние дни свидетели не дали никакого существенного материала к раскрытию этого преступления.

Четырнадцатого мая 1911 года, когда Лядов отбыл в Петербург, «Русское знамя», газета Союза русского народа, в отчаянии вопрошала читателей:

Вы думаете, что всемирный жид не пожалеет миллионов на тушение дела? Вы думаете, что этот всемирный ростовщик и мошенник не пригрозит во внешних займах? Вы думаете, он не пригрозит даже международными осложнениями, если дело Андруши Ющинского не будет затушено?

Газета утверждала, что власти «уступили [евреям] вопреки закону, логике, правде, и самолюбию русского народа» и убийц никогда не привлекут к ответственности.

«Русское знамя» негодовало, что из Петербурга не прислали ни одного приличного сыщика и что дело якобы остается «под непроницаемым покровом тайны». Не исключено, что такая неосведомленность объяснялась обычным бюрократическим хаосом. А может быть, ее причиной послужила некая неразоблаченная интрига («интрига» и

«камарилья» — два слова, чаще всего встречающихся на страницах воспоминаний царских чиновников). Однако у киевских и петербургских властей имелись веские причины не сообщать праворадикалам о ходе следствия.

На этом этапе расследования чиновники, негласно поддерживавшие «ритуальную» версию, похоже, испытывали сомнения. Они вынуждены были признать, что не смогли найти подходящего еврея, то есть такого, против которого нашлись бы улики. Поэтому пока держали в тайне от общественности выводы известного психиатра Ивана Сикорского, считавшего убийство Андрея частью «вендетты сынов Иакова». За неимением подозреваемого подобное открытие, притом что властям не удалось найти преступников, рисковало взволновать население и повышало вероятность погрома, которого правительство не хотело допустить «ни в коем случае». Пройдет еще несколько недель, прежде чем удастся найти подходящего обвиняемого.

Тем временем Красовский вел расследование в совершенно ином направлении.

Как позже с неодобрением вспоминал местный прокурор Брандорф, Красовский «не отличался особо стойкими нравственными качествами и способен был, в случае надобности, вести двойную игру». Ради того, чтобы сохранять свободу действий, Красовский вынужден был потакать черносотенцам, часто встречался с Голубевым и его главным сыщиком — некогда полицейским осведомителем, ростовщиком и бывшим владельцем борделя Розмитальским, в беседах с ними утверждая, что возможность ритуального убийства представляется ему вполне вероятной. Задачу Красовского несколько облегчало отсутствие на тот момент какой бы то ни было убедительной версии преступления: правдой могло оказаться что угодно, и здесь он был вполне честен.

Почтение, с каким Лядов относился к Голубеву и его соратникам, равно как и другие его действия, еще нельзя было считать признаком созревшего антисемитского заговора. Красовский и другие следователи могли относиться к их намекам по своему усмотрению.

Сразу по прибытии в Киев Красовский тщательно изучил вещественные улики. Он ужаснулся, узнав, что полиция и толпа народа разворотили все на месте преступления, оставив лишь ничтожные мелочи, с которыми можно было работать. На пропитанном кровью клочке наволочки, найденном в кармане тужурки Андрея, были обнаружены следы спермы — возможное указание на сексуальные мотивы преступления. На пряжке пояса отчетливо виднелись два отпечатка пальцев — над первой буквой слова «училище» и под ней — но, к сожалению, после того как их присыпали двумя разными порошками, «проявить» отпечатки уже не удалось. В отсутствие орудия убийства почти полсотни ран, нанесенных мальчику, не навлекали подозрений ни на кого конкретно. На тужурке Андрея остался грязный отпечаток в виде маленькой елочки, оказавшийся следом редких галош фирмы «Колумб», однако ни у кого из фигурантов подобных галош не нашли. Глина, прилипшая к одежде Андрея, была идентична той, что имелась в пещере, и возможности определить, где совершено убийство, это обстоятельство не предоставляло, хотя Красовский и проверил одну важную гипотезу. Опираясь на метеорологические бюллетени, из которых явствовало, что температура в Киеве поднималась выше нуля лишь два дня, 16 и 19 марта, Красовский пришел к мысли, что тело перетащили в пещеру в один из этих дней, когда глина и листья могли пристать к одежде мальчика, а затем присохнуть. (Этот вывод противоречил результатам вскрытия, показавшим, что тело перенесли в пещеру еще в

состоянии трупного окоченения, то есть в течение двенадцати или двадцати четырех часов с момента смерти.) В конце мая Красовский осмотрел кирпичный завод Зайцева, но, как и Фененко, ушел оттуда в полной уверенности, что убийство произошло не там. Он кратко переговорил с Менделем Бейлисом и попросил его показать свои галоши. Галош фирмы «Колумб» у Бейлиса не оказалось — лишь поношенная пара популярной фирмы «Проводник».

Для того чтобы раскрыть преступление без вещественных доказательств и свидетелей, Красовскому необходимо было заставить людей рассказывать то, о чем они не хотели говорить. Ему требовалось найти способ влиять на эмоции, чтобы непрошенные воспоминания заставляли губы шевелиться, а слова, застрявшие на языке, вырвались наружу. С уликами, которыми располагало следствие, он не мог раскрыть преступление, но надеялся найти убийцу, докопавшись до тайной истории семьи Андрея со всеми ее горечью, обидами и отчаянием.

То, что Красовскому удалось узнать о семье, вызвало у него серьезные подозрения. Арест родных Андрея был ошибкой, в их защиту высказывались в Думе, им возмущались праворадикалы. Но это не помешало Красовскому пойти по следу: он склонялся к мысли, что Андрея и правда убил кто-то из своих, как подозревала его тетка Наталья.

У Луки Приходько, отчима Андрея, как будто имелось надежное алиби. Колбасов, его начальник, утверждал, что Лука десять дней и ночей провел в переплетной мастерской, где работал, спал и принимал пищу. Однако между ними существовала эмоциональная привязанность, они были собутыльниками, к тому же, как поговаривали, Лука состоял в любовной связи с женой Колбасова. Трудно сказать, как это могло сказаться на показаниях Колбасова, но совершенно очевидно, что мотивы у него могли быть самые разные.

Слишком многое указывало на возможную причастность к преступлению Луки, а также Александры, матери Андрея, и ее брата Федора Нежинского. Внимание следствия сосредоточилось на самом очевидном мотиве — деньгах. Следователям сообщили, что у пещеры, когда нашли тело Андрея, его дядя Федор сказал, что мальчика убил отчим или кто-то из родных «из-за векселя». На допросе Федор подтвердил, что обвинял своего зятя Луку и что причиной убийства считал деньги.

На этом этапе наконец возникает — правда, тенью — еще один таинственный персонаж, о котором все говорили, но которого никто так и не увидел. Отсутствующий отец Андрея Феодосий Чирков жил с Александрой два года. Когда она ждала от него второго ребенка, девочку, умершую вскоре после рождения, Чирков уехал из Киева служить в царской армии. Примерно в то же время его родные продали скромную усадьбу, и часть вырученных денег досталась Чиркову. К моменту убийства Андрея никто не знал наверняка, жив ли он, хотя ходили слухи, что он погиб в Русско-японскую войну.

Известно было, что Чирков любил играть в карты и «бывал в среде товарищей сомнительного свойства». Те, кто его знал, почти не сомневались, что полученные им от родных деньги у Чиркова не задержались. Но после исчезновения Чиркова возникла легенда, что он оставил некий «вексель». Александра часто хвастала, что на имя Андрея отложены деньги, около тысячи рублей. Андрей, тосковавший по отцу (говорили, что он даже расспрашивал проезжавших солдат, не слышали ли они о нем), заполнял эмоциональную пустоту, на свой лад перекраивая историю, выдуманную матью. Одному из своих друзей-евреев Андрей сказал, что отец оставил ему шестьсот рублей и что он живет на проценты с них. Так ему хотелось верить, что отец его обеспечивает.

«Вексель» был семейным мифом, орудием в родственных перепалках и утешением для мальчика. Но после убийства, когда слезы могли смыть прежние обиды, миф всплыл, чтобы преследовать семью, подобно злобному домовому. Появились свидетели. Обнаружились и настораживающие обстоятельства.

Следователи выяснили, что Лука и Александра весьма подозрительно вели себя в редакции местной газеты, куда пришли, чтобы дать объявление об исчезновении Андрея. «Они держали себя совершенно хладнокровно, спокойно», — сообщил следователям сотрудник газеты. Муж с женой поразили его тем, что «были спокойны и улыбались». Прачка тоже заявила, что Александра и ее брат Федор говорили об исчезновении Андрея с улыбкой. Разгоряченное воображение киевлян породило фантастические слухи: якобы кто-то видел, как мужчина и женщина, похожие на Луку и Александру, нанимают извозчика, а сами тащат большой тяжелый мешок. В другой версии чета выдавала завернутое в тряпки тело за больного ребенка, которого везут в больницу.

Третьего июня полиция арестовала Федора. У него тоже было алиби — человек, работавший вместе с ним в мастерской у Натальи, клялся, что оба они как раз там и находились. Из всей семьи Федор больше всех рисковал угодить на скамью подсудимых. Девятнадцатого марта, за день до обнаружения трупа, его видели в Лукьяновке в выпачканной глиной одежде — именно так должен был выглядеть преступник, если ему пришлось пробираться в пещеру, а потом из нее вылезать. Мальчик по имени Григорий Жуковский рассказал, что ему пришлось чистить одежду Федора. Сам Федор пояснил, что испачкал одежду, потому что спал на земле, вероятно, после попойки. Тот же мальчик подтвердил, что Федор выпил, хотя это едва ли послужило оправданием.

Другие свидетели тоже утверждали, что Федор вел себя подозрительно.

Оказавшись под стражей, Федор, что неудивительно, снова стал указывать на своего зятя Луку. Более неожиданным оказалось другое заявление Федора. Он сообщил Красовскому, что нашел ценного свидетеля, которого упустили следователи: человека, видевшего кого-то похожего на Луку возле пещер в то утро, когда убили Андрея. Как ни удивительно, Федор говорил правду, полиция нашла подтверждение его словам.

Федор отыскал свидетеля, печника, несколькими неделями ранее. Тот рассказал о человеке, которого видел 12 марта в семь утра по дороге на завод Зайцева, куда шел на работу. Рассказ этот быстро распространился по всему лукьяновскому муравейнику и дошел до ушей Натальи, тетки Андрея, передавшей слух брату. Печника знали только по прозвищу — Лапочка, — но вскоре Федор его нашел. На самом деле его звали Василий Яценко; он подтвердил полиции, что 12 марта видел неподалеку от завода Зайцева человека, показавшегося ему подозрительным.

Федор, найдя свидетеля, указывавшего, как он полагал, на виновность зятя, предпочел оставить эти сведения при себе — исключительно ради собственной выгоды. Полицейские, записавшие показания Федора, отметили:

Он розыски свои прекратил и решил молчать о своих догадках, рассуждая таким образом, что убитого мальчика не вернешь, а арест [Луки] Приходько неблагоприятно отразится на материальном положении семьи, содержать которую пришлось бы ему, Нежинскому.

Теперь, когда Федор понял, что его самого вот-вот обвинят в убийстве, найденный свидетель открывал ему дверь на свободу.

Как бы главному прокурору Чаплинскому ни хотелось найти в этом деле еврея или евреев, он не мог не считаться с подозрениями прославленного детектива. В начале июня он неохотно сообщил министру юстиции, что рассказ Нежинского может оказаться правдой. Колебания Чаплинского, возможно, объясняются и другим обстоятельством. Шестого июня отец Александр Глаголев, киевский профессор и ведущий христианский специалист по вероучению и ритуалам иудаизма, к которому Чаплинский обратился месяцем ранее, представил экспертное заключение. Отец Александр признал наличие «свидетельств ненависти евреев к неевреям в Талмуде», но полностью опроверг обвинение евреев в ритуальных убийствах. Как и присутствовавшие на совете, созванном Фридрихом II, императором Священной Римской империи, после первого такого случая в Фульде, профессор Глаголев отметил древний иудейский «запрет на употребление в пищу всякой крови», подробно оговоренный в Талмуде. Он подчеркнул: «Запрещение пролития человеческой крови и употребления в пищу всякой крови вообще, насколько мне известно, не отменено и не смягчено» никакими еврейскими текстами. Сама идея кровавого ритуала, по словам Глаголева, идет «наперекор известным принципам еврейства древнего и нового».

Он полагал, что благочестивые хасиды менее всего были способны на такое святотатство.

Оборот, который приняло расследование, крайне беспокоил Мищука. Он уже не считал родных Андрея причастными к убийству, но Красовский шел именно по их следу. Не верил Мищук и в то, что в деле замешаны евреи. Мищук был человеком не слишком образованным, в свое время за плохие

отметки его выгнали из гимназии. Но утверждение, что убийство совершили евреи, как уверял профессор Сикорский, казалось ему бессмысленным. Как сыщик Красовский значительно его превосходил. Но на данном этапе расследования именно Мищук проявил более тонкое чутье.

В свободной обстановке он расспросил игравших недалеко от пещеры детей, и те рассказали ему о женщине, «у которой много всякого люду шляется... у нее и бывает веселье, песни, шум... родители говорят... что то дом нехороший, что туда не надо ходить... что она тайная гадалка, опасная, что она знает наговоры, путается во всякие дела и что ее все люди боятся и обходят и что... она воровка и душегубка». Еще дети сказали, что женщину «дразнят» Чеберячкой.

* * *

На уголовном жаргоне того времени слово «чибриячка» означало «веселую песню со скандальным содержанием». Это прозвище рифмовалось с другой кличкой Веры Чеберяк — Сибирячка, — отсылавшей, как видим, к ее криминальным знакомствам и к суровому краю, где ее сообщникам доводилось (или предстояло) отбывать свой срок. Соседи Чеберяк ее опасались. На допросах они называли ее «самой последней женщиной», «темной личностью», «злом».

Чеберяк была вспыльчивой и легко приходила в ярость. Многие истории о ней заканчивались фразой: «Она ударила меня по лицу». Так, к примеру, закончилась ее ссора с соседкой снизу Зинаидой Малицкой, работавшей в винной лавке. Досталось от Чеберяк и другой знакомой — за флирт с мужчиной, которого она считала своим. Но привычка кидаться на людей с кулаками не шла ни в какое сравнение со злодеянием, совершенным ею шестью годами ранее.

Чеберяк спокойно признавалась, что ослепила своего любовника, француза Павла Мифле, плеснув ему в лицо серной кислотой. Как ни в чем не бывало она объясняла знакомым, что всего лишь отплатила Мифле за то, что тот ударил ее по лицу. По другим рассказам, она сделала это в припадке ревнивого бешенства. Каковы бы ни были причины, побудившие Чеберяк покалечить любовника, на суде ее оправдали. Мифле выступил в защиту Чеберяк, сказав, что простил ее, и его слова подействовали на присяжных. После оправдательного приговора их отношения продолжились. Чеберяк сопровождала Мифле в больницу и во французское консульство, где ему как инвалиду назначили небольшое пособие — около пятнадцати рублей в месяц. Она часто навещала его и иногда приводила приятелей обедать к нему в квартиру, расположенную в том же доме, где жила она, только двумя этажами ниже.

Чеберяк испытывала непреодолимую тягу к преступлениям и лжи, действуя под влиянием момента. Она утверждала, что ей двадцать девять лет и что она дочь священника Владимира Сингаевского из Житомира (приблизительно в ста пятидесяти километрах от Киева), который умер, когда ей было шесть лет. На самом деле, как показывает запись в церковной книге, она была крещена 26 августа 1879 года, а значит, весной 1911 года ей был тридцать один год. Женья, сын Чеберяк, сначала сказал полиции, что ему двенадцать, а на самом деле ему было без малого четырнадцать, то есть она родила его в семнадцать лет. Вместо отчества в документах Веры Чеберяк значилось «незаконнорожд[енная]». Чеберяк была дочерью Юлиании Сингаевской из семьи однодворцев (которые были несколько выше обычных крестьян по статусу) и неизвестного мужчины. Благодаря запросам следователей позже удалось выяснить,

что никакого священника Владимира из Житомира не существовало.

У Чеберяк было еще одно прозвище — Верка-Чиновница. Когда семнадцатилетняя Вера вышла замуж за Василия Чеберяка, сына отставного капитана, который был старше ее лет на тринадцать, этот брак существенно повысил ее социальный статус. В отличие от матери Андрея Ющинского, которой удалось найти мужа, несмотря на внебрачного ребенка, мать Веры Чеберяк, по-видимому, замуж так и не вышла. От другого мужчины Юлиания Сингаевская родила еще одного внебрачного ребенка — Петра. Вероятно, у Веры было тяжелое детство, и Василий должен был казаться ей спасителем. Однако, хотя Василий был образцовым служащим Киевского центрального телеграфа и успешно продвигался по службе, он никогда не зарабатывал больше сорока семи рублей в месяц — обычной и достойной зарплаты рабочего. Чеберяк — самовлюбленная, склонная к театральным жестам, жадная до эмоций и материальных благ, привлекавшая определенного типа мужчин, — не могла удовлетвориться положением «чиновницы». Воровской притон стал для нее источником дохода и чувственных наслаждений.

Француз Мифле был далеко не единственным ее любовником. Было много других. Зимой 1910–1911 года в ее шайку входили девятнадцатилетний Митрофан Петров, который жил с ней какое-то время и которого Чеберяк называла своим квартирантом, восемнадцатилетний Николай Мандзелевский (Колька-Матросик) и Иван Латышев (Ванька Рыжий). Говорили, что со всеми ее связывали любовные отношения. Некоторых членов шайки она пыталась выдавать за своих «братьев», входил в нее и единоутробный брат Петр (по кличке Плис). Но полиция постоянно им интересовалась, и в Лукьяновке он показывался редко.

В трехкомнатной квартире Чеберяков, находившейся над казенной винной лавкой, происходили бурные пьяные оргии, шокировавшие всю округу. Некоторое время Василий Чеберяк спал в одной комнате с тремя детьми, тогда как во второй была Вера и те, с кем она развлекалась. Василий редко ночевал дома: на телеграфе он работал в ночную смену, уходил из дома вечером и возвращался рано утром, а зачастую выходил еще и в дополнительные смены, чтобы заработать денег сверх жалованья. В тех редких случаях, когда он приходил в неурочное время, гости Веры поили его до полного отупения, чтобы муж не мешал разгулу (в ходе химической экспертизы, проведенной полицией в ее квартире, на обоях были обнаружены следы спермы). Василий даже признавался соседу, что молодые люди, кажется, что-то подсыпают ему в стакан.

Полиция была уверена, что на совести Чеберяк добрый десяток краж. Мищук, удивлявшийся, почему ее до сих пор не арестовали, выяснил, что она была осведомительницей и выборочно предавала своих сообщников, чтобы иметь возможность продолжать собственное дело. Соседи отмечали, что она хорошо одевалась и постоянно меняла шляпы. Однако другие утверждали, что семья едва сводила концы с концами, мебель в доме была ветхая, а на еде приходилось постоянно экономить.

* * *

Женя Чеберяк поначалу признался Голубеву, что видел Андрея утром 12 марта, хотя вскоре передумал и стал отрицать, что видел в тот день Андрея или встречался с ним.

В голове у Мищука начала складываться новая гипотеза: он заподозрил, что Андрея убили «с целью симулировать ритуальное убийство и вызвать еврейский погром», так как, по слухам, в 1905 году Вера Чеберяк извлекла выгоду из

погрома, прибрав к рукам несметное количество еврейского добра. Его догадки могут показаться дикими. Но он был прав, считая главной подозреваемой именно Чеберяк и намереваясь как следует взяться за нее и ее банду. Для того чтобы проверить свои догадки, он хотел арестовать Чеберяк: это была широко распространенная практика, когда подозреваемых задерживали и под давлением заставляли признаться в содеянном. Но когда Мищук посоветовал арестовать Веру Чеберяк, прокурор Чаплинский возмутился: «Зачем вы мучаете невинную женщину?!»

Тогда же Мищук начал плести интриги против Красовского. В письме к начальнику киевской полиции от 13 июня он обвинял Красовского в том, что сыщик якобы склоняет свидетелей давать показания против отчима Андрея. Начальник полиции переслал письмо губернатору, а тот, в свою очередь, — Чаплинскому, который начертал резолюцию: «Между Красовским и Мищуком очень плохие отношения».

Однако Красовскому никто не мешал заниматься родными Андрея. Он приготовился вытащить наружу их заблуждения, размолвки и обиды и построить на них собственную версию преступления.

В июне при обыске на рабочем месте Луки в переплетной мастерской обнаружили вырезки из правых газет, где говорилось о ритуальном убийстве, и засунутый в книгу клочок бумаги с заметками о расположении кровеносных сосудов в височной области — в эту часть черепа Андрей получил около тринадцати ударов. Двадцать шестого июня Красовский распорядился арестовать Луку. Арестовали также его брата и, вероятно, чтобы оказывать эмоциональное давление на подозреваемых, их слепого отца.

Красовский проследил, чтобы Луку в полиции переодели в другой костюм и примерили ему разные шляпы. Ему также сбрили бороду, постригли, покрасили волосы и брови в

черный цвет, завили усы. Потом подозреваемого привели на то самое место на граничащей с пещерами улице, где печник Ященко видел «черного», «прилично одетого» человека (Лука в своем обычном виде никак не мог подпадать под это описание). Но, несмотря на все ухищрения, Ященко не смог с уверенностью утверждать, что видел именно Луку.

Сдаваться Красовский не собирался. В присутствии Луки два «свидетеля» (на самом деле полицейские в штатском) «опознали» Луку как человека, которого видели на месте преступления. Потрясенный Лука произнес что-то наподобие: «Арестуйте меня, но не мучьте моих родственников, отца и брата, которые ни при чем». И эту фразу расценили как признание. Красовский был убежден, что нашел преступника.

Брандорф, местный прокурор, тоже категорически не верил в «ритуальную» версию убийства Ющинского. Но он пришел к другому, куда более обоснованному выводу: Андрея убили по наущению Веры Чеберяк. Голубев, обнаружив в Жене Чеберяке свидетеля, невольно навел полицейских на след его матери. Каждый, кто говорил с Женей, не сомневался, что мать запугивает его и что он знает больше, чем говорит. Все, даже Чаплинский, понимали, что ею следует заняться как подозреваемой.

В конце мая Красовский вместе с другими полицейскими произвел обыск в доме Чеберяк. Процедура обыска предполагала присутствие гражданского свидетеля, и на эту роль пригласили Степана Захарченко, владельца дома. Захарченко ничего так не желал, как выселить все семейство Чеберяков. Он устал укрывать эту кошмарную женщину и не мог больше выносить ее пьяных оргий. Ее дети, таскавшие фрукты из его сада, тоже не вызывали у Захарченко сочувствия. Более того, он недавно узнал, что Чеберяк годами дурачила его дочь, державшую на той же улице бакалейную лавку: покупала у

нее в кредит, а потом платила меньше, чем была должна. (Его дочь почему-то разрешала Чеберяк самой вести расчетную книгу.) Дочь Захарченко как раз подала жалобу властям. Вместе с отцом они собирались предъявить Чеберяк обвинение в мошенничестве. Отношения домовладельца с Чеберяк осложняло еще одно обстоятельство: он был дружен с Менделем Бейлисом.

Пока Красовский с двумя полицейскими осматривал квартиру, околоточный надзиратель Евтихий Кириченко завел разговор с Женей и спросил его об убийстве. «Он что-то хотел мне сказать, — рассказал на суде Кириченко, — но вдруг запнулся и сказал, что не помнит». Чеберяк стояла в той же комнате, несколько поодаль, так что Кириченко ее не видел. «Когда я спросил Женю, кто убил Ющинского, я заметил, что у него получилась судорога в лице», — сообщил Кириченко и уточнил, что боковым зрением увидел, как Чеберяк делала Жене «угрожающие жесты». Кириченко прервал беседу и направился к приставу рассказать о посетившей его догадке о причастности Чеберяк к преступлению. Он чувствовал, что больше ничем нельзя объяснить злобу, которую та проявляла при упоминании имени убитого мальчика.

Брандорф несколько раз просил у Чаплинского ордер на арест Веры Чеберяк, но тот отказывал ему, как ранее Мищуку. Тогда Брандорф попытался побудить к действию следователя Фененко, разделявшего его точку зрения. Однако Фененко не захотел портить отношения с начальством.

Но Брандорф не успокоился. Он подстроил арест Чеберяк корпусом жандармов, уполномоченным заключать под стражу любого, в ком видели потенциальную угрозу государству. А поскольку в конце августа в Киеве ожидали царя, который вместе с премьер-министром Столыпиным должен был присутствовать на открытии памятника своему деду Александру II, полномочия Киевского жандармского

управления еще более расширились. Власти намеревались очистить город от любых нарушителей порядка. Генерал Курлов, столь решительно вмешавшийся, чтобы предотвратить погром после убийства Андрея, собирался на это время лично возглавить корпус жандармов. Ничто не должно было омрачить торжество, каким являлся приезд государя.

Поэтому, когда 9 июня жандармы арестовали очередную потенциальную нарушительницу под тем предлогом, что у нее «собираются подозрительные личности, причастные к политическому движению», никто не обратил на это особого внимания. На самом деле в доме Чеберяк собирались только ее молодые любовники и разного рода преступники. Брандорф счел, что убийца у него в руках, рассчитывая на ее добровольное признание.

Василий, муж Веры Чеберяк, тоже был преисполнен надежд: он надеялся, что после ареста Веры судьба наконец ему улыбнется. Жизнь с Верой, долгие ночные смены на телеграфе, перемежавшиеся унижительным забытьем попоек с ее любовниками, а теперь еще и постоянный страх перед полицейскими облавами — все это довело его до полного отчаяния. В жандармах на пороге своей квартиры он, кажется, увидел неожиданное спасение. «Я освобожусь от нее, — сказал Чеберяк приятелю после ареста жены, — тогда и заживу нормальной жизнью».

Но надежды — как мужа, так и прокурора — могли сбыться только при условии, которое еще не было исполнено: признании ее вины. Чеберяк обладала поразительной способностью запугивать своих обвинителей, брать над всеми верх, воздействовать на них и ускользать. Правда, Брандорф и жандармский подполковник Иванов полагали, что теперь, когда Чеберяк заключили под стражу в порядке государственной охраны — то есть без адвокатов и возможности подать жалобу, — она станет уязвимее. Они были

уверены, что в заключении, при непрерывных допросах — то есть в условиях, в какие никогда ранее не попадала, — Чеберяк непременно сознается.

Не менее важно было и то, что полиция могла теперь допрашивать Женю Чеберяка без матери. На предыдущих допросах мальчик явно показывал, что хочет сказать правду. Теперь, когда мать упрятали за решетку, мягкие расспросы должны были ослабить сковывающий ребенка страх. И действительно: когда Женю допросили через неделю после задержания матери, у него вырвались некоторые детали, совпадавшие с показаниями других свидетелей. Он подтвердил, что Андрей приходил к ним домой за порохом. «О порохе я боялся вам сказать при прежнем допросе, потому что думал, что за это вы меня будете бить, — признался Женя, — а теперь, когда вы мне объяснили, что следователи бить никого не могут, я и говорю вам правду». Кроме того, Женя подтвердил, что в последний раз, когда видел Андрея, тот был без пальто — и пальто мальчика так и не нашли. Но хотя Женя и признал, что Андрей к нему приходил, он настаивал, что было это не с утра, а в два часа дня, и отрицал, что это могло произойти 12 марта, в день, когда его друг пропал. Женя, по видимому, был не в состоянии избавиться от чар своей матери, и следователи чувствовали себя обескураженными.

Более того, Женя внезапно заявил, что вспомнил одно обстоятельство, о котором забыл упомянуть на предшествующих допросах. По его словам, вечером 12 марта отец послал его в пивную за двумя бутылками пива. Там Женя встретил Федора, дядю Андрея, который «был очень пьян и еле стоял на ногах». «Увидя меня, — продолжал Женя, — он нагнул и тихонько сказал мне: „Уже Андрюши нет, его порезали“». Его мать, которую допрашивали отдельно, рассказала несколько иную версию этой истории. Следователи заметили, что показания Жени противоречат рассказам

многих свидетелей. Чеберяк, вероятно, подготовилась на случай, когда мать и сына будут допрашивать по отдельности. Рассказ выглядел как хорошо продуманная, но плохо соотносящаяся с другими фактами ложь, необходимая для того, чтобы отвести подозрения от нее самой.

Вера Чеберяк неизменно старалась бросить тень на главного или наиболее удобного в данный момент подозреваемого. После ареста матери Андрея она распространяла слухи о ее жестоком обращении с сыном. Когда следствие переключилось на евреев, она уверяла, что именно они совершили убийство. Теперь, когда считала главным подозреваемым Федора, она попыталась свалить вину на него.

«В порядке государственной охраны» Чеберяк продержали под арестом с 9 июня по 9 июля. Дальше держать ее без формальных обвинений не имели права. Девятого июля Брандорф счел необходимым распорядиться, чтобы Красовский арестовал ее по подозрению в убийстве Ющинского. Дальше сохранять в тайне ее заключение было невозможно. Через пять дней, по настоянию Чаплинского, Чеберяк выпустили, когда ее освобождения потребовал возмущенный Голубев, взбешенный тем, что ни одному еврею до сих пор не предъявлено никаких обвинений.

О месячном заключении Чеберяк больше ничего не известно. Но перелома, на который так надеялись прокурор и Василий Чеберяк, так и не случилось. Она не выдала себя и вернулась домой к своему несчастному мужу.

При обыске, во время которого надзиратель Кириченко наблюдал сцену с Верой Чеберяк, присутствовал Красовский, который пропустил рассказ Кириченко мимо ушей, хотя тот был одним из его протеже. Он с беспощадным упорством продолжал вести расследование в отношении Луки Приходько. Дореволюционная судебная система предполагала наличие сдерживающих и уравновешивающих механизмов,

и, когда Луку привели на допрос к следователю Фененко, он имел право пожаловаться на плохое обращение. Когда позднее Луку спросили, почему он этого не сделал, он ответил, что, если бы его тогда попросили назвать собственное имя, он бы и то не вспомнил.

Либеральная пресса ликовала по поводу обнаружения виновного — точнее, виновных, потому что всех задержанных уже считали преступниками.

Все данные к тому, что убийцы обнаружены, налицо, — сообщала газета «Утро России». — Арестовано пять лиц, между ними отчим и двое дядей убитого, и брат отчима. Двое из них принадлежат к числу активнейших членов Союза русского народа.

В кадетской газете «Речь» высказывалось мнение, что родственники инсценировали ритуальное убийство. Всю «изуверскую шайку, позорящую русский народ», призывали отдать под суд.

Но улики против Луки, если их вообще можно было назвать уликами, вскоре рассыпались в прах. Александра отнеслась к исчезновению сына вовсе не с безразличием, как утверждали некоторые; она несколько раз падала в обморок и обегала весь город в поисках Андрея. Никакого векселя не существовало. Отец Андрея дал Александре семьдесят пять рублей из денег, вырученных от продажи усадьбы (в том числе двадцать пять на обучение мальчика); она подавала в суд, чтобы получить больше, но проиграла дело. Алиби Луки подтвердили и соседи его начальника. Что касается клочка бумаги с описанием расположения кровеносных сосудов в черепе, Лука пытался объяснить, что он выпал из медицинского справочника, который ему отдали переплетать. Нашли и владельца книги, который, по его

словам, сам набросал это описание, большей частью на латыни.

Чутье Красовского ему изменило. Он попал в ловушку, о которой Ганс Гросс, выдающийся австрийский юрист и основатель науки криминалистики, предупреждал в новаторском для той эпохи «Руководстве для судебных следователей». Сыщик пошел путем нанизывания одного показания на другое, а это, по мысли Гросса, неизбежно ведет к тому, что следователь «болтуна заставит продолжать болтовню, нахала не остановит, робкого запугает, самый важный момент упустит».

Доверие к официальному расследованию было подорвано, и либеральная пресса, которую воспринимали как еврейскую, оказалась в глупом положении. (На руку правым сыграл и тот факт, что некоторые распространители ошибочных сведений, в частности сотрудник газеты, сообщивший о подозрительном поведении Александры и Луки, были евреями.) Как можно было поверить, что простой переплетчик способен написать заметку на латыни? Как можно было не проявить сострадания к матери-христианке, вынужденной пропустить похороны сына и едва не лишившейся мужа и брата?

Луку, просидевшего под арестом почти три недели, отпустили 14 июля.

К этому времени Чаплинский так и не нашел еврея, которого можно было бы обвинить в убийстве Ющинского, и, несомненно, опасался за свою карьеру, поскольку был подвергнут нападкам со стороны правой прессы. «К сожалению, на киевского прокурора полагаться нельзя, — писали в „Земщине“. — Ему видимо интересы иудеев дороже правосудия». Чаплинский, который был польского происхождения, ради карьеры перешел из католичества в православие. Человек столь масштабных, хотя и пустых, амбиций,

прицелившийся занять место в Сенате, должен был чрезвычайно болезненно воспринимать нападки праворадикалов. Но следствие вдруг пошло именно в желаемом им направлении.

В начале июля внимание следствия привлекли фонарщик Казимир Шаховской и его жена Ульяна, люди «бедные и опустившиеся», по выражению писателя Владимира Короленко. Они вместе пили, вместе работали, хотя в Лукьяновке часто видели, как Ульяна, пошатываясь, в одиночестве идет по улице, неся на плече лестницу, а местные мальчишки бегут за ней, помогая зажечь сто сорок фонарей.

Шаховские оказались первыми, а потому наиболее ценными свидетелями, видевшими Андрея неподалеку от пещеры 12 марта.

Как мы помним, 9 июля, на первом допросе, Казимир рассказал о встрече с Женей и Андреем, который просил взять его с собой на ловлю птиц. Ульяна тоже видела мальчиков чуть раньше, но не говорила с ними.

Казимир вполне правдоподобно объяснил, почему четыре месяца избегал обращаться к властям: «Я сам неграмотный, газет не читаю... Боялся я впутываться в это дело потому, что ходить мне по улицам приходится поздно вечером и рано утром меня всегда могут подколоть те, кому не понравится мое показание». И намекнул, кого особенно опасается: «По этому делу вы, следовательно, лучше допросите живущих в одном дворе с Чеберяковым. Они вам расскажут, какого поведения сама Чеберякова, я же сам слышал, что она воровка, а больше про нее ничего вам сказать не могу».

Допрашивал его Адам Полищук, бывший сотрудник киевской сыскной полиции, которого вместе с еще одним бывшим сотрудником полиции Красовский почему-то оставил при себе в качестве помощников. Обоих незадолго до того уволили со службы за различные проступки, в том числе за то,

что они «вели дружбу с преступниками». Красовскому было неизвестно, что Полищук тайно сотрудничает с Голубевым. Возможно, Полищук думал, что ему представился случай реабилитироваться за счет влиятельных особ.

Восемнадцатого июля Шаховского допросили снова, и, судя по его ответам, на этот раз он попытался угодить следователям.

Усадьба, в которой живет Чеберякова, расположена с заводом Зайцева и отделяется от этой усадьбы высоким забором. 12 марта из усадьбы, где живет Чеберякова, свободно можно было пройти в завод Зайцева, так как забор там был полуразрушен, и части самого забора даже не было... Заведовал всей усадьбой приказчик Мендель... Я знаю, что Мендель в хороших отношениях с Чеберяковой, и бывал у нее. Больше пока добавить ничего не имею.

Будущие обвинители здраво заключили, что невозможно игнорировать подозрения в отношении Веры Чеберяк. Ну а коль скоро перед ними стояла задача обвинить еврея, почему просто не сделать их сообщниками? (Эта версия, не подкрепленная никакими доказательствами, скоро заглохнет, но странным образом всплывет на суде, когда обвинение перепробует все способы склонить присяжных на свою сторону.)

Шаховской намекал на сообщничество Бейлиса и Веры Чеберяк, но этой догадки было мало, чтобы обвинить их в убийстве. Требовался рассказ очевидца, а не просто косвенное свидетельство. Девятнадцатого июля Полищук отправился к Шаховским с визитом, прихватив с собой бутылку водки. Он обрабатывал Ульяну, пока та не напилась до такого состояния, что уже еле ворочала языком. Полищук понял, что сразу сфабриковать показания не удастся. Нужен был свидетель, который сможет повторить свой рассказ в суде.

Ульяну надо было подтолкнуть, чтобы она сочинила собственную историю. Наверняка она что-нибудь да знает, наверняка что-то слышала о Менделе. Операция предстояла деликатная: надо было варьировать дозу алкоголя и степень психологического воздействия, чтобы Ульяна произнесла необходимые слова, оставаясь достаточно пьяной, чтобы легко поддаваться внушению, но не напиваясь настолько, чтобы утратить способность к членораздельной речи. В какой-то момент Шаховская сказала то, чего от нее хотели. Полищук доложил: «Шаховская мне прямо сказала, что муж ее знает все и видел, как Мендель, вместе с сыном Давидкой, повели или потащили Андрюшу к печке».

Теперь требовалось официально взять показания. Но вскоре стало ясно, что добиться, чтобы одуревшие от водки муж и жена оба придерживались одной связной версии, — задача непосильная.

Двадцатого июля Казимира допросили в третий раз в присутствии Чаплинского. Он рассказал уже совершенно новую историю. Сам Шаховской, по его словам, не видел, как Мендель тащил Андрея, но знает, что это видел Женя:

Я... забыл вам упомянуть об очень важном обстоятельстве... Я встретил Женю Чеберякова... около дома моей тетки-старушки Шаховской. Увидя тогда Женю, я спросил его: удалось ли ему тогда хорошо погулять с Андрюшей. На это мне Женя ответил, что ему с Андрюшей Ющинским не удалось, так как их спугнул в заводе Зайцева, недалеко от печки, какой-то мужчина с черной бородой, причем закричал на них... после чего они разбежались. Я почти не сомневаюсь в том, что убийство Андрюши Ющинского было совершено в печке зайцевского завода. Проживал тогда там только один человек с черной бородой, а именно Мендель, приказчик заводской усадьбы. ...Вот почему я и

думаю, что в убийстве этом принимает участие этот самый Мендель...

Женя, Андрей и их товарищи действительно частенько пробирались на территорию зайцевского завода, где катались на «мяле» — похожем на карусель устройстве для разминания глины: к вершине центрального столба крепился длинный шест, к концу которого присоединяли колеса от старой повозки. Дети по очереди усаживались верхом на шаткий шест, а остальные изображали ломовых лошадей, вращавших это приспособление. Но то, что Шаховской внезапно вспомнил о разговоре, якобы указывавшем на преступника, выглядело, мягко говоря, подозрительно.

Ульяна Шаховская, которую допросили в тот же день отдельно от мужа, тоже рассказала новую, правда, совсем другую историю. Она уже не утверждала, что ее муж своими глазами видел, как утащили мальчика. Вместо этого она заявила, что ее знакомая — Анна Волкивна — наблюдала преступление. Волкивна, настоящая фамилия которой была Захарова, побиралась и пьянствовала, а прозвищем была обязана своей привычке спать на улице, в месте под названием Волчий Яр. Она довершила трио алкоголиков, на показаниях которых было основано обвинение против Менделя Бейлиса.

Но этот рассказ не вполне удовлетворял тех, кто допрашивал Шаховскую. И тогда она «вспомнила», что Волкивна называла Менделем утащившего мальчика человека с черной бородой.

Получается, что за два дня Шаховские рассказали три разные истории, указывавшие на причастность Бейлиса к убийству. Сначала Ульяна заявила, что ее муж Казимир видел, как мужчина с черной бородой утащил Андрея. Затем Казимир сообщил, что о похищении знает со слов Жени

Чеберяка. Наконец, Ульяна заверила, что свидетельница преступления — ее пьяная приятельница Волкивна, добавив, после дополнительных расспросов, что мальчика тащил Мендель.

Чаплинского не смутило, что двое свидетелей изложили три разных версии событий: ему важен был любой повод арестовать Бейлиса. Чаплинский признал все эти показания «не вполне устойчивыми», но решил, что в совокупности они подкрепляют друг друга.

Чаплинский распорядился, чтобы Бейлиса арестовали. Следователь Фененко, которому обвинение против Бейлиса представлялось абсурдным, не мог оспорить приказ, но постарался, как мог, отсрочить арест, сказав Чаплинскому, что ему понадобится три-четыре дня на оформление бумаг.

Тем временем «студент Голубев», желавший ускорить события, явился к Чаплинскому и заявил, что «вся Лукьяновка знает о показаниях Шаховского... и народ собирается расправиться сам с Бейлисом и Зайцевым и устроить погром».

Слухи дошли и до сапожника Михаила Наконечного, главного разносчика местных сплетен, который, умея читать и писать, также занимался составлением бумаг для местных жителей. Наконечному предстояло стать одним из немногих положительных героев на процессе Бейлиса. А героиней процесса стала его маленькая дочь, главная свидетельница защиты. Он, похоже, вначале не хотел вмешиваться в это дело, но ему было известно то, о чем он не мог умолчать: Шаховской затаил обиду на Бейлиса.

К тому времени к Красовскому вернулись здравый смысл и следовательское чутье. Он наконец понял, что все нити ведут к Вере Чеберяк и ее шайке. Узнав о показаниях Шаховского и надвигающемся аресте Бейлиса, Красовский поспешил в Лукьяновку, где наткнулся на встревоженного

сапожника. «Он подошел ко мне, — рассказал на суде Красовский, — и с взволнованным видом говорит: „Какая пакость... это чистейшая ложь. Дело в том, что Шаховский проживает близко от завода Зайцева и имеет обыкновение тащить дрова с завода. ...Он был привлечен к ответственности за кражу материала и, так как в этом деле изобличал его... Бейлис, то он затаил злобу к Бейлису“».

Однако взятие Бейлиса под стражу было делом уже решенным. Когда Голубев пригрозил самосудной расправой, начальник Киевского охранного отделения Николай Кулябко предложил Чаплинскому свои услуги, заявив, что имеет полномочия, которыми наделен в связи с предстоящим приездом царя, чтобы задержать Бейлиса. Чаплинский указал ему, что арестовать необходимо и Веру Чеберяк, сообщницу Бейлиса; тогда он полагал, что обвинение получится более убедительным, если сделать их соучастниками. Торопливость Чаплинского отчасти можно объяснить его подозрением, что полиция подкуплена евреями:

Чаплинский сказал мне, что задержание Бейлиса и Чеберяк он не считает возможным поручить полиции... так как она подкуплена, а потому поручает мне [их] арест.

Двадцать первого июля Чаплинский доложил министру юстиции, что Вера Чеберяк заподозрена в убийстве и ее необходимо задержать. По словам Чаплинского, она, «удерживала свидетелей от дачи откровенных показаний, запугивая их расправой с ними». «Влияние ее на дело, — отметил Чаплинский, — сказалось между прочим в том, что она неустанно следила за сыном Евгением... видимо опасаясь, что он может проболтаться. При неоднократных допросах мальчика он производил впечатление знающего гораздо более того, что он сообщал...»

«Задержание ее могло способствовать открытию истины», — заключил прокурор.

Как видно из рапорта Чаплинского, он прекрасно понимал, что главной подозреваемой по делу об убийстве Ющинского была Вера Чеберяк, и все же хотел любой ценой возложить вину на еврея. И единственный мало-мальски подходящий для этого еврей оказался скромным, трудолюбивым, не особенно религиозным семьянином. Изначально Чаплинский хотел — вероятно, считая такое решение чрезвычайно находчивым, — связать обвинение против еврея со скандально известной на всю Лукьяновку Чеберячкой. Таково было странное начало разбирательства, вскоре получившего известность как дело Бейлиса.

Двадцать второго июля 1911 года в три часа ночи в дом Менделя Бейлиса ворвался наряд полиции и пятнадцать жандармских офицеров во главе с начальником Киевского охранного отделения Кулябко. Масштаб операции, подходящий для поимки вооруженного и опасного короля преступного мира, выглядел смехотворно на фоне беззащитной жертвы этого действия. Неопытный и жаждущий мелодрамы Кулябко играл в солдатики.

...Раздался громкий стук в дверь. За все 15 лет, что я прожил на фабрике, я не слышал такого шума, — вспоминал Бейлис. — Моей первой мыслью было, что на фабрике возник пожар. ...Я побежал открывать дверь. В дом ворвался большой отряд жандармов... Поставив охрану у двери, полковник Кулябко приблизился ко мне и строго спросил:

«Вы Бейлис?»

«Да».

«Именем Его Величества, вы арестованы. Одевайтесь».

По словам Бейлиса, его окружили со всех сторон плотным кольцом, словно боясь, что он вырвется и убежит. Он

пытался спросить, в чем дело, но в ответ услышал, что скоро все узнает, а пока пусть поторапливается и одевается.

От Бейлиса потребовали сообщить, какой суммой денег он располагает, по-видимому, чтобы полицейских впоследствии не обвинили в краже. У него оказалось всего семьдесят пять копеек. Его спросили, хочет ли он взять деньги с собой или оставить жене. Он ответил, что оставит их Эстер, которой они понадобятся больше, чем ему, но отдать ей деньги самостоятельно Бейлису не позволили. Ему пришлось отдать монеты офицеру, который протянул их жене Бейлиса. Ее муж был теперь арестантом, вынужденным подчиняться всем нелепым формальностям.

Дети проснулись, и Бейлис хотел с ними попрощаться, но жандармы это запретили. Когда он вышел из дома, его передали четверем офицерам. Бейлис не знал, что арестованных положено вести по дороге, а не по тротуару. Извилистым маршрутом почти три километра Бейлиса вели по опустевшим киевским улицам, пока конвой не доставил его к зданию охранки, где начался кошмар, разрушивший его привычную жизнь.

■ «Андрюша, не кричи!»

Менделя Бейлиса привели в Киевское охранное отделение в пять утра. Прождав около часа, Бейлис услышал топот конских копыт, затем звяканье шпор в коридоре. Когда дверь открылась, на пороге он увидел, что вернулись жандармы, обыскивавшие его дом. Вошел Кулябко, начальник киевской охраны, и Бейлис подумал было, что его наконец допросят и все прояснится, но Кулябко отвел Бейлиса в другую комнату, велел принести ему чая и хлеба, а сам сразу же ушел.

Бейлис не знал, в чем дело и чего от него хотят. Через три часа вернулся Кулябко. Формально он не участвовал в расследовании убийства — только несколько дней держал у себя арестанта, чтобы потом передать его полиции. Поэтому особенно удивительно, что он проявил инициативу: предложил задержанному ответить письменно на ряд вопросов. Бейлис едва умел читать и писать по-русски, поэтому ответы дались ему с большим трудом. Зато он наконец узнал, за что его арестовали: после обычных вопросов об имени, происхождении и роде занятий шел вопрос о том, что он знает об убийстве Ющинского. Кулябко решил опросить его устно, но Бейлис смог сказать одно: ему известно лишь то, что знают все. Он был ошарашен происходящим, а когда услышал за стеной плач своего сына, пришел в отчаяние и начал биться головой о стену.

Восьмилетнего Давида, сына Бейлиса, Кулябко допрашивал лично. Потом привел к Бейлису Женю и сообщил, что, согласно показаниям Жени Черевяк, Давид играл 12 марта с Андреем, а он это отрицает. Бейлис не знал, что сказать в ответ.

Я провел еще несколько часов с тяжелым сердцем. Меня терзала мысль, что моего сына держат взаперти и

мучают. Он ведь маленький ребенок... к тому же еще очень слабый. Его крики для меня были как острый нож. Я не мог успокоиться. Когда я позже увидел его в окне комнаты, где сидел, — оно выходило в коридор, — мне стало еще хуже, и я никогда не забуду этого зрелища. Я стоял и смотрел в окно. Он шел, сложив руки и опустив голову. Сердце у меня разрывалось, и я еще сильнее заколотил в стену.

Ребенка оставили на ночь в полицейском участке, а утром наконец отпустили.

Но на другой день Давида вновь привели на допрос, а вместе с ним и тринадцатилетнего Пинхаса, старшего сына Бейлиса. Вероятно, начальник охраны думал, что раз не сознается отец, может быть, удастся что-то вытянуть из детей. Но дети не сказали ничего, что могло бы повредить отцу, хотя их, несомненно, к этому подталкивали. Прежде чем детей отпустили, Бейлису разрешили на минуту их увидеть.

До ареста Бейлис чувствовал себя вполне безопасно в городе, где провел значительную часть жизни. Но, будучи евреем в Киеве, он не так уж удивился, внезапно оказавшись под замком.

Российская империя веками относилась к евреям враждебно. Первые случаи избиения евреев казаками относятся к середине 1600-х годов, но до конца XVIII века евреев в России было немного. Даже Петр I, проводивший реформы по западному образцу и открытый всему новому, не желал мириться с присутствием евреев, а в 1727 году его племянница Анна Иоанновна издала указ, повелевавший немногочисленному еврейскому населению покинуть пределы империи. Периодические высылки оставались нормой вплоть до 1762 года, когда на престол взошла Екатерина II. Именно имперская политика Екатерины, нацелившейся на крупные польские территории, сделала

Россию страной с самым многочисленным еврейским населением в мире. После третьего раздела Польши в 1795 году около полумиллиона евреев стали российскими подданными. К 1900 году численность еврейского населения превысила пять миллионов, при этом Россия оставалась единственной в Европе страной — за исключением Румынии, — не предоставившей иудеям равных прав. Они по-прежнему могли проживать в основном в черте оседлости, но даже там им было запрещено селиться в ряде городов и в сельской местности: они не имели права владеть землей. Однако, по словам Симона Дубнова, одного из первых летописцев жизни евреев в России, по степени враждебности к евреям ни один город Российской империи не мог соперничать с Киевом.

Город, где Мендель Бейлис жил уже пятнадцать лет, располагался в центре территории, отделенной чертой оседлости, но сам в эту область не входил. Евреям было дозволено жить в радиусе сотен километров в любом направлении, но селиться в самом Киеве без специального разрешения они не имели права. С точки зрения закона Киев, как Москва и Петербург, находился «за чертой оседлости». В некотором смысле он занимал еще более исключительное положение. Киев, «мать городов русских», колыбель средневековой русской культуры, занимал особое место в русском национальном сознании. Киев был единственным городом во всей Российской империи, где иудеям разрешалось жить только в определенных, наименее привлекательных районах. Многие бедные евреи вынуждены были жить в Плоском, на тоскливом промышленном пустыре, где не было ни канализации, ни системы водоснабжения, а жители теснились в бараках между фабриками и цехами с их нездоровыми испарениями. Шолом-Алейхем называл Киев «Егупцем», то есть Египтом, городом, который «издавна... только и делает,

что возится с евреями, как если бы ему только и не доставало, что евреев да еще головной боли».

И все же Киев манил. Тысячам евреев, родившимся, как и Бейлис, в бедных штетлах, то есть еврейских местечках, город сулил лучшую жизнь. Здесь можно было найти работу, отдать ребенка в гимназию, чтобы он стал настоящим русским евреем с более радужными видами на будущее, даже сколотить состояние на бирже, а потому многие считали, что перспектива новой жизни в Егупце стоит крупного риска.

Киевская полиция была известна ночными облавами, во время которых ловила евреев — часто целыми семьями, — заподозренных в незаконном проживании в городе. Даже евреи, располагавшие всеми необходимыми бумагами, рисковали ненароком нарушить какое-нибудь правило — и их могли выселить по прихоти полицейских в те города, где они были прописаны.

Мендель Бейлис приехал в Киев не потому, что бежал от кого-то или чего-то, и не в поисках богатства. Он не отличался честолюбием и мог остаться там, где жил. Он всего лишь хотел трудиться и кормить семью. Но притягательность города оказалась слишком велика.

Мендель Бейлис родился в 1873 или 1874 году, вероятно, в небольшом селе Нещерове, примерно в сорока километрах от Киева. Его отец Тевье был набожным хасидом, перед которым сын благоговел. Сам Мендель почти не получил образования — за плечами у него было всего несколько лет хедера, еврейской начальной школы. Первые годы его жизни, пришедшиеся на правление Александра II Освободителя, были относительно благополучным временем для евреев, надеявшихся, что их уравниют в правах с другими российскими подданными. Равных прав им не предоставили, но правительство смягчило ограничения и расширило прием евреев в средние школы и университеты. В 1881 году убийство

Александра II террористом, бросившим в царя бомбу, положило конец примирительной политике. Когда на трон взошел его сын Александр III, Украину захлестнула волна погромов. По меркам XX века жертв было немного — не более двухсот человек. Но, как и первые массовые убийства евреев в Российской империи почти полутора столетиями ранее, погромы сильно травмировали еврейское население.

Однако едва ли не больший шок, чем сами погромы, вызывала реакция на них государства. Правительство полагало, что русских людей необходимо защищать от евреев. Третьего мая 1882 года были приняты «Временные правила», известные также как «Майские правила», которые больше ограничивали свободу перемещений и торговли для евреев. Как отмечает историк Сало Барон, эти правила давали местным властям право на «административное преследование» евреев. (Самый яркий пример — 1891 год, когда в первый день праздника Песах из Москвы выселили всех евреев, кроме нескольких наиболее привилегированных.) «Временные правила» оставались в силе вплоть до падения династии Романовых.

В возрасте примерно восемнадцати лет Менделя Бейлиса забрали в Российскую императорскую армию и отправили почти за тысячу километров на северо-восток, в Тверь, где, как и девяносто семь процентов рекрутов-евреев, он служил в пехоте, получая смехотворное жалованье — около двадцати рублей в год. В суровых условиях жили все новобранцы, но за мелкие проступки евреев наказывали жестче, чем их русских товарищей. В каждом еврее видели потенциального дезертира, поэтому они находились под строгим надзором, но все же воинская служба уже не была для еврея катастрофой, как раньше.

Александр II отменил жестокую систему, при которой «кантонистов», то есть еврейских мальчиков — формально не

моложе двенадцати лет, но на деле иногда восьми-девятилетних, — отправляли в армию, часто при этом заставляя принять православие. Первоначальный срок службы — двадцать пять лет — сократили приблизительно до пяти, после чего военнослужащих на девять лет увольняли в запас. Попыток обратить новобранцев-евреев в другую веру больше не предпринимали. Солдаты-евреи не могли соблюдать кашрут, но им разрешали собираться в полковых столовых и казармах, чтобы отмечать основные еврейские праздники, и давали увольнительную, чтобы они могли посетить седер и богослужения в ближайших к месту службы еврейских общинах. Наиболее прагматичные русские командиры активно поощряли соблюдение религиозных обрядов, здраво полагая, что такое времяпрепровождение предпочтительнее обычного солдатского распутства и пьянства.

Воинская служба не отнимала у еврейских новобранцев их религии, но делала их уже другими. Для Менделя Бейлиса, как и для тысяч других солдат-евреев, армия стала своего рода школой. Как отмечает историк Йоханан Петровский-Штерн, солдат-еврей проходил обучение, служил, сражался и принимал пищу бок о бок с русским солдатом, православным христианином, и иудаизм первого из образа жизни превращался в вероисповедание, подкрепляемое непоследовательным соблюдением обрядов. В плавильном котле армии Бейлис лучше овладел русским языком. Общение с русскими придало ему уверенности в себе. Он стал меньше придерживаться религиозных обычаев. Можно сказать, что армия подготовила его к большому городу.

Бейлис туда не рвался и оказался в «нечестивом Егупце» благодаря случайному стечению обстоятельств, которым был обязан глубоко почитаемому отцу, известному своим благочестием.

Мендель Бейлис, человек твердых моральных принципов, не отличался стремлением строить собственную судьбу. Повинуясь течению жизни, он попал в армию, позже сблизился с женщиной по имени Эстер, на которой женился через год после увольнения. Ее дядя владел печами для обжига кирпича в городке в тринадцати километрах от Киева, куда Бейлис и устроился на работу. Но однажды, в 1896 году, Бейлис получил письмо от двоюродного брата, работавшего у «сахарного короля» Ионы Зайцева, с предложением места на кирпичном заводе, который Зайцев строил в Киеве.

До службы в армии Бейлис работал на ликеро-водочном заводе, тоже принадлежавшем Зайцеву. Это место он получил благодаря своему отцу Тевье, состоявшему в дружеских отношениях с Зайцевым, одним из богатейших людей губернии, и даже несколько раз получавшему от состоятельного заводчика приглашение его навестить. Через много лет Зайцев принял участие в сыне своего бедного благочестивого друга, к тому времени уже умершего, и, вероятно, радовался, что может предоставить молодому человеку, который обзавелся семьей, приличную работу в городе.

Бейлис был доволен своим местом заводского приказчика, отвечавшего также за отправку грузов. Он получал сорок пять рублей в месяц и не платил за жилье, поскольку работал в этом помещении шесть дней в неделю. Зато мог оплачивать обучение старшего сына Пинхаса в русской гимназии, куда мальчика взяли в соответствии с правилом, допускавшим принимать до пяти процентов учеников из евреев. (Евреи в целом на тот момент составляли около пятнадцати процентов населения Киева, насчитывавшего 450 тысяч человек.) Давид, которому исполнилось восемь, учился в хедере. Из шестерых детей супруги потеряли только одного — сестру-близняшку двухлетней дочери. «Я

благодарил Бога за то, что имел — позже напишет Бейлис. — Все указывало на мирное будущее».

Арест Бейлиса предполагалось держать в тайне, пока его формально не передадут полиции, но новость стала достоянием общественности.

Наконец, кажется, дело выходит на путь истинный, — торжествующе сообщала газета «Земщина», — арестованный по предполагаемой прикосновенности к делу служащий завода Зайцева — жид Мендель Бейлис был подвергнут вторичному допросу следователем Фененко.

Ликование было преждевременным. На самом деле Фененко, следователь по особо важным делам, отказывался допрашивать или арестовывать Бейлиса. Будучи решительным противником обвинения в ритуальном убийстве, Фененко считал, что Бейлис невиновен. За кулисами шла ожесточенная борьба, которой предстояло решить судьбу узника.

Во время ареста Бейлиса прокурора Чаплинского в Киеве не было — он отправился за триста с лишним километров в имение министра юстиции Щегловитова, чтобы обсудить с ним дело, приобретающее государственное значение. Переход Чаплинского из католицизма в православие, а заодно и в ряды русских националистов, начинал приносить желанные плоды, обещая благотворно повлиять на карьеру прокурора. Он, несомненно, рассчитывал провести выходные, выслушивая от министра похвалы за успешное задержание еврея, виновного в убийстве мальчика. Но 23 июля Чаплинскому подали клочок бумаги, испещренный цифрами — зашифрованную телеграмму из судебной палаты, написанную без знаков препинания, в лихорадочной спешке, объяснявшей ее тревожным содержанием. Телеграмма гласила:

Мендель Чеберякова арестованы порядке охраны Шаховские опровергнут показание агента завтра допросить Волкивну.

То есть Мендель Бейлис и Вера Чеберяк арестованы «в порядке государственной охраны». Шаховские — фонарщики — отрицают показания о мужчине с черной бородой, то есть якобы «Менделе», данные ими Адаму Полищуку, а значит, обвинение рассыпалось. Наконец, на завтра был назначен допрос Анны Волкивны, пьяницы-побирушки, на которую сторонники антисемитской версии преступления возлагали большие надежды. Шаховских, тоже беспробудно пьющих, формально не допрашивали, их свидетельства существовали лишь в пересказе Полищука. Супруги действительно рассказывали то, что записал Полищук, но их показания содержали море противоречий и не вызывали доверия. Теперь же чету допрашивали в самом опасном с точки зрения обвинителей состоянии — трезвом.

Через несколько часов после ареста Бейлиса фонарщика Казимира Шаховского впервые допросили официально. Ему предъявили показания сапожника Наконечного, обвинившего Казимира в желании «пришить к делу» Бейлиса из-за того, что приказчик уличил его в краже дров с зайцевского завода. Шаховской отрицал, что пытался оговорить Бейлиса, но признал, что Наконечный достоверно передал содержание их разговора. Но на этот раз он решительно опроверг заявление своей жены, что якобы был свидетелем преступления. «Никогда со своей женой не говорил, что видел будто бы, как Мендель тащил Андриюшу Ющинского к печке. Этого я не мог жене своей говорить, так как я этого не видел».

Несмотря на склонность Шаховского к пьянству и мелкому воровству, его настойчивые уверения, что он не хотел оклеветать соседа, звучат правдоподобно. Под давлением, которое на него оказывали, он поступил дурно и знал

это; теперь требовалось исправить ошибку. Когда на следующий день Шаховского допросили снова, он опять отказался от ранее рассказанной истории. Шаховской даже намекнул, что вынужден был говорить то, чего от него хотели следователи: «О Менделе мне все говорили сыщики [то есть прежде всего Полищук], которые ко мне приходили. Они столько раз об этом говорили, что я решил немного прибавить от себя в своем показании...»

Шаховской с самого начала намекал, что уверен в причастности Веры Чеберяк к преступлению. Как ни странно, именно вечно нетрезвый фонарщик, а не кто-либо из следователей, первым обратил внимание на одно важное обстоятельство. Его жена, видевшая Андрея, вспоминала, что тот держал в руках книги. Но когда чуть позже он сам столкнулся с мальчиком на углу улицы, Андрей был уже без книг и без пальто. «Я лично не сомневаюсь нисколько в том, что книги и пальто Андрюша оставил у Чеберяковой в квартире, — заявил Шаховской следователям, — так как куда же он мог девать свое пальто и свои книги».

Ульяну Шаховскую в первый раз допросили официально 22 или 23 июля с аналогичным результатом. Она отказалась от большей части своих прежних показаний, заодно поведав кое-что о методах допроса Полищука.

В дополнение к прежнему своему показанию, добавляю следующее: Позавчера... я с Полищуком, своим мужем и агентом выпивали водку. От выпитой водки я так сильно опьянела, что решительно ничего не помню из того, что говорила агенту Полищуку.

Она по-прежнему настаивала, что Анна Волкивна якобы видела, как «Мендель», схватив Андрея в охапку, тащил его к печке. Однако Ульяна признала, что, рассказывая ей эту историю, Волкивна была «немножко выпивши». Позже

выяснилось, что Полищук садился пить с Шаховскими, когда Ульяна возвращалась домой после работы, и продолжались их возлияния до трех часов утра.

Прокурор судебной палаты Чаплинский вернулся в Киев примерно 25 июля. Вызвала ли у него панику полученная телеграмма? Возникла ли мысль отказаться от необоснованного обвинения и отпустить задержанного? Может быть, какое-то время он и правда колебался. Но, обсуждая дело с местным прокурором Брандорфом, которому оно было непосредственно поручено, и следователем Фененко, Чаплинский не выказал ни сомнений, ни нерешительности. В отношении отказа Шаховских от собственных показаний он выбрал поразительно простую тактику — игнорировать его. Вероятно, он рассчитывал, что обвинение так или иначе сумеет накопить еще «улики». Найдутся люди, которые пожелают сыграть роль непосредственных свидетелей, какую у Томаса Монмутского играла служанка, «видевшая мальчика сквозь приоткрытую дверь». (В таких расчетах Чаплинский оказался прав, хотя для этого и потребовалось до неприличия много времени.) Чаплинский не мог не видеть неубедительности обвинения. Но он знал, что продолжать дело в его интересах и что у него есть поддержка министра юстиции.

Царский режим строился не на сплошном произволе; охранное отделение не могло держать человека под арестом «в порядке государственной охраны» более двух недель (при определенных обстоятельствах — более одного месяца). По истечении этого срока арестованного надлежало либо передать полиции, предъявив ему обвинение в конкретном преступлении, либо освободить. Чаплинскому ни к чему было держать Бейлиса под замком в качестве политического преступника. Требовалось придать делу максимально широкую огласку, обвинив его в кровожадном убийстве христианского ребенка.

Чаплинский не мог сам отдать распоряжение об официальном взятии Бейлиса под стражу с предъявлением ему обвинения. Сделать это уполномочен был только следователь Фененко. Разумеется, Чаплинский мог отстранить Фененко от должности, но такой поступок вызвал бы скандал, который был прокурору нежелателен.

Фененко с присущей ему прямолинейностью заявил Чаплинскому, что, учитывая явную лживость показаний, равнозначных клевете на невинного человека, он, следователь, не будет отдавать распоряжение об аресте. Более дипломатичный и осторожный Брандорф попытался переубедить Чаплинского. Впоследствии он вспоминал:

...Для доказательства недостаточности оснований к привлечению Бейлиса я набросал на бумаге все доводы, изложенные Чаплинским, и получился какой-то бессвязный подбор предположений и догадок, но отнюдь не логически построенная схема улик; когда же я прочел этот «позорный», с моей точки зрения, «акт» и ожидал, что он подействует на Чаплинского отрицательно, убедив его в невозможности по таким данным привлечь человека за убийство, да еще с «ритуальной» целью, то эффект получился обратный, и Чаплинский нашел, что на бумаге «вышло еще лучше».

Здесь уже Брандорф перестал спорить. Он заявил, однако, что берется написать предположение о привлечении Веры Чеберяк, куда более убедительное, чем обвинение против Бейлиса. Но Чаплинский, по словам Брандорфа, заявил в ответ, что «не может допустить, чтобы по „еврейскому“ делу была привлечена в качестве обвиняемой православная женщина». Так Чаплинский дал понять, что отказывается от затеи представить Бейлиса и Чеберяк сообщниками. Обвиняемым должен был остаться только еврей. «Православную женщину» вскоре отпустили.

Фененко обратился к Красовскому, предложив доказать несостоятельность обвинений против Бейлиса. Красовский объективно изложил результаты проведенного им расследования, не упустив ни малейшей детали, и пришел к выводу, что не располагает никакими данными, «которые указывали бы на участие Менделя Бейлиса в этом деле».

Под давлением Чаплинского Фененко согласился дать полицейским распоряжение об аресте Бейлиса, но потребовал от Чаплинского письменного приказа. Тот не сразу согласился на условие Фененко, который тоже не собирался отступать. Спор затянулся более чем на четыре дня. Двадцать девятого июля Чаплинский согласился, известив министра юстиции, что он лично предлагает арестовать Бейлиса. Третьего августа, когда до истечения двухнедельного срока оставалось два дня, Чаплинский выдал Фененко письменное распоряжение.

Обоснование для ареста, выданное Чаплинским, почти полностью повторяет его донесение министру юстиции Щегловитову.

Убийство Андрея Ющинского, — докладывал прокурор, — совершено евреями в целях получения христианской крови для выполнения еврейских религиозных обрядов.

Это утверждение подкреплялось «ритуальной экспертизой архимандрита Амвросия и профессора Сикорского». (О противоположной точке зрения отца Александра Глаголева, выдающегося богослова, в рапорте умалчивалось.)

Доводы Чаплинского вкратце были таковы. Тело нашли неподалеку от завода Зайцева, находящегося, как известно, «под наблюдением еврея Менделя Бейлиса». На заводе имеется «обширная кирпичеобжигательная печь», которая могла послужить «весьма удобным местом для содеяния

подобного преступления». (Красовский и Фененко, осмотрев завод и его территорию, пришли к выводу, что убийство не могло быть там совершено, но это не имело значения.) Кирпичный завод — «единственное место в данном районе», где найдена глина, идентичная той, что пристала к одежде мальчика (утверждение, опровергнутое анализом Красовского). Обнаруженные на зайцевском заводе «швайки» — «как раз такие орудия, коими причинены Ющинскому все поранения» (против чего категорически высказался прозектор). Кто-то должен был не допускать к месту преступления посторонних, из чего следовал роковой вывод: «Разумеется, заведующий кирпичным заводом... должен был быть посвящен в этот замысел».

При этом Чаплинский ссылаясь на показания Казимира и Ульяны Шаховских, Адама Полищука и «других свидетелей» (кого Чаплинский подразумевал под «другими свидетелями», остается загадкой — их попросту не было), которые, по его словам, «приобретают значение серьезных улик против него». Правда, прокурор назвал показания единственных «очевидцев» преступления «не вполне устойчивыми».

Он признал, что слова Казимира Шаховского, якобы наблюдавшего, как Бейлис вместе с сыном тащат Андрея к печи, не подтвердились. Не скрыл, что Анна Захарова по прозвищу Волкивна не подошла для традиционной роли очевидца ужасного злодеяния, что она «категорически заявила при допросе, что ничего не рассказывала Ульяне Шаховской и никаких разговоров по делу об убийстве Ющинского не вела». И тем не менее утверждает: «Нельзя не прийти к заключению, что в совершении убийства принимал участие Мендель Бейлис».

Получив приказ предъявить Бейлису обвинение, Фененко распорядился, чтобы арестанта доставили в здание

окружного суда. Он должен был лично сообщить задержанному, что его обвиняют в убийстве, которого тот, как хорошо известно было им обоим, не совершал.

После первого дня, проведенного Бейлисом в охранном отделении, Кулябко больше его не допрашивал. Он оказался неумелым следователем. Чтобы вырвать у Бейлиса признание, требовались инквизиторские способности, свойственные Красовскому, — хитрость и умение нащупать слабые места обвиняемого.

К пище Бейлис не прикасался. Он исхудал и, когда Кулябко явился к нему на седьмой день заключения, едва держался на ногах.

— Ну что, — осведомился Кулябко, делая последнюю, слабую попытку выудить признание, — вы обдумали свое положение?

— Мне нечего обдумывать, — ответил Бейлис, — потому что я ничего не знаю.

Это был их последний диалог. В тот же день, 28 июля, Бейлиса отвели в полицейский участок.

В новой камере обстановка была чуть менее мрачной. Там находились несколько евреев, задержанных в ходе регулярных полицейских облав, и один из них, портной Беркович, попытался утешить Бейлиса. Берковича арестовали месяцем ранее, когда полиция обнаружила, что вместе с ним живет один из его взрослых сыновей, приехавший в город, чтобы восстановиться после болезни. Сына отправили обратно в черту оседлости, а самого Берковича арестовали за то, что приютил у себя «нелегала».

Каждый день жена портного приносила ему еду, и после очередного ее посещения Беркович уговорил Бейлиса присоединиться к трапезе. «Я хочу произнести тост, — сказал

Беркович, наливая обоим по рюмке коньяка. — Лехаим². Увидите, Всевышний не оставит вас». У Бейлиса не было аппетита, но он поел и выпил рюмку коньяка, потом еще одну. Наконец-то он почувствовал прилив сил. С женой Берковича Бейлис передал письмо заводскому управляющему, чтобы на заводе знали, в какое положение он попал.

Допрашивали Бейлиса Фененко и товарищ прокурора А. А. Карбовский, которому было поручено вести дело вместо Брандорфа. Они сыпали иудейскими религиозными терминами, смысла которых не понимали ни они, ни допрашиваемый. В ответ Бейлис только качал головой. Его неведение было неподдельным. (Эстер Бейлис, когда ее допрашивали после ареста мужа, сообщила: «Муж мой совсем нерелигиозный и только один раз в году, а именно в судные дни, бывает в синагоге. Очень часто он работает даже в субботу и еврейских праздников не соблюдает, так как человек он бедный, и праздновать нам некогда, и нужно заработать кусок хлеба, чтобы содержать семью».)

Фененко спросил, был ли отец Бейлиса хасидом, и Бейлис ответил утвердительно. Позднее он признавался:

Должен сказать, я не знал тогда и до сих пор не вполне понимаю, что значит «хасид». В моем понимании «хасид» — религиозный еврей, строго соблюдающий все законы и носящий длинную одежду. Поэтому мне казалось, что евреи бывают двух типов — «хасиды», то есть все религиозные евреи в длинных одеждах, и нехасиды, то есть современные евреи, которые носят короткую одежду и не соблюдают религиозных предписаний. А поскольку мой отец, мир его праху, был

2 Букв. «за жизнь» (ивр.). Традиционный еврейский тост. — Примеч. пер.

очень набожен, носил длинную одежду и строго соблюдал все заповеди, я считал его хасидом.

— А вы сами? — спросил Фененко. — Вы тоже хасид?

«Этот вопрос, как бы скверно я себя ни чувствовал, заставил меня улыбнуться, — вспоминал Бейлис. — Я — „хасид“?!» Он ответил, что он простой богобоязненный человек, но никак не хасид.

Фененко был вынужден задавать эти вопросы, так как, вероятно, получил их от Чаплинского. Тот сосредоточился на хасидизме, в котором ему мерещилось нечто нечестивое. Хасидизм возник в середине XVIII века в Польше как экста-тическое, мистическое течение в иудаизме, и на тот момент к его приверженцам относилось подавляющее большинство местных евреев. Другой основной ветвью иудаизма на этой территории было течение миснагедов (буквально «противящихся» хасидизму), придерживавшихся более традиционного вероучения. Ко времени Бейлиса неприязнь между двумя группами сгладилась, и в религиозных обычаях различия между ними были минимальными. Но обвинение готовилось изобразить на суде хасидизм как зловещую тайную секту, состоявшую из «мужчин с черными бородами», которые практиковали кровавый варварский ритуал.

Затем Фененко спросил Бейлиса о письме, найденном в его доме во время обыска. Оно было от Ионы Зайцева и касалось приготовления партии мацы, которую Зайцев имел обыкновение ежегодно выпекать на Песах. Выяснилось, что на протяжении многих лет Бейлис распорядился изготовлением пасхальной мацы для семьи Зайцева. Обвинители решили, что наконец нашли прямую связь между подозреваемым и дьявольской пародией евреев на причастие, в которой хлеб соединялся с христианской кровью. Эту связь они будут всячески подчеркивать в суде.

Бейлис объяснил, что много лет назад Зайцев предложил ему возможность зарабатывать несколько рублей сверх жалованья, контролируя традиционную ежегодную процедуру — выпекание и отправку тонны мацы многочисленным родственникам и друзьям Зайцева. Ему для этого требовался надежный и честный человек. Каждый год в течение двух недель Бейлис следил за изготовлением мацы в усадьбе Зайцева под Киевом и за ее развозом в канун Песаха. Так продолжалось до смерти Зайцева в 1907 году, когда эта традиция прервалась. (Наследников Зайцева, современных евреев, вполне устраивала маца, купленная в лавке.)

Бейлиса допрашивали несколько раз.

Эти допросы всегда волновали меня, — рассказывал он позднее в мемуарах. — С одной стороны, меня это подбадривало, потому что, если меня допрашивали, значит, хотели знать правду. С другой стороны, я боялся бессмысленных вопросов, рассчитанных на то, чтобы смутить и запутать меня.

Третьего августа Фененко сообщил, что по распоряжению прокурора Бейлиса переводят в тюрьму. В последнюю ночь, проведенную им в полицейском участке, заключенный со стажем попытался его утешить: «В тюрьме гораздо лучше. Там по крайней мере дают горячее, а здесь только сухой паек». Бейлиса это не успокоило, и уснуть он не смог.

Вера Чеберяк, тоже задержанная 22 июля, ничем не выдала себя и все сетовала, что попала в тюрьму из-за этого «говна Жени», как она назвала своего сына. Вскоре стало очевидно, что мать не только до безумия боялась собственного сына, появились основания подозревать, что она желала его смерти.

Когда Веру Чеберяк забрали в охранное отделение, соседи стали беспокоиться за ее детей. Дети тощали. Разгон Вериной шайки в значительной мере лишил семью средств к существованию, Василий со дня на день мог остаться без работы на телеграфе, домовладелец Захарченко выселил семью из квартиры. Дети продолжали таскать груши из сада Захарченко, но уже не ради забавы, а чтобы утолить голод.

В самом начале августа все трое заболели. Сначала Василий решил, что они объелись незрелых груш, но вскоре Женю забрали в больницу с дизентерией. Мальчик слабел с каждым часом, врач не надеялся его спасти. Седьмого августа Веру Чеберяк выпустили из тюрьмы, и она поспешила в больницу. Врач сказал, что мальчик в плохом состоянии и ему лучше остаться в больнице, но мать забрала его домой.

Когда Красовский узнал, что Женю забрали из больницы, он тут же отправил Полищука с еще одним агентом наблюдать за ним. Мальчик бредил, ему все время мерещился Андрюша, и он звал его по имени. Полищук рассказывал:

Когда же покойный Женя приходил в сознание, Вера Чеберяк брала его на руки и говорила ему, указывая на меня и Выгранова [второго агента]: «Скажи им, дорогой сыночек, пусть они тебя и твою маму не трогают, так как мы оба ничего не знаем по делу Андрюши Ющинского», на что Женя ей отвечал: «Оставь, мама, мне тяжело об этом вспоминать».

Мать понукала его: «Скажи, дитяtko, что я тут ни причем».

Но когда Женя пытался что-то сказать, мать наклонялась над мальчиком и поцелуями не давала ему говорить. Полищук спросил, почему она мешает ему высказаться, и Чеберяк ответила, что не хочет утруждать сына, потому что ему тяжело.

Исповедовать и причастить умирающего позвали священника Федора Синькевича, одного из руководителей правой молодежной организации «Двуглавый орел», вскоре избранного ее председателем. Позднее Чеберяк заявила, что позвала его по просьбе Жени, но Синькевич мальчика не знал, а значит, пригласить его решила сама Чеберяк. По всей видимости, она лелеяла надежду, что влиятельный в правых кругах священник засвидетельствует, что сын, умирая, обелил ее.

На суде Синькевич говорил: «Мне кажется, что он хотел что-то сказать, но почему-то не решался, производило впечатление, что у него был какой-то сложный психический процесс». У него возникло ощущение, что Чеберяк, стоя за его спиной лицом к кровати, делала какие-то знаки, пытаясь что-то сказать сыну.

Женя умер 8 августа, на следующий день после того как его забрали из больницы. Еще через несколько дней умерла его сестра — восьмилетняя Валентина. Осталась только девятилетняя Людмила. Газеты всех мастей подхватили версию, что дети были отравлены.

Либеральное «Современное слово» обличало праворадикалов:

Известно, что за дело взялся Союз русского народа. Стоит ли удивляться, что в результате получилось новое преступление?

Праворадикальная «Земщина» винила евреев, замечая, что

при разборе дела Дрейфуса — этого подлого изменника, поочередно, один за другим, скоропостижно скончались одиннадцать человек свидетелей.

Газета заявляла, что «устранение» свидетелей «составляет обычное средство кровожадного [еврейского] племени».

После смерти детей эмоциональное состояние Чеберяк и ее финансовые обстоятельства были, вероятно, крайне тяжелыми. А через несколько дней после похорон Жени и Вали именно в ней все вдруг стали видеть главную злодейку. Ее обвиняли даже черносотенцы: по их мнению, Чеберяк вместе с евреями убила Андрея, а теперь умертвила и Женю. Семнадцатого августа «Земщина» поведала:

Смерть [Жени] не явилась неожиданностью для соседей, ибо они часто слышали, как мать грозила мальчику: «Если распустишь язык, убью как собаку. Своими руками задушу, если пикнешь легавым».

Однако попытка представить Чеберяк пособницей евреев оказалась кратковременным отклонением от основного курса. Вскоре правые журналисты и обвинители, оставив зловещие фантазии о злом духе Лукьяновки на долю прогрессивной прессы, вернулись к версии, согласно которой Андрей и Женя погибли от рук одних евреев.

О Вере Чеберяк сохранилась еще одна исключительно характерная история. Вероятно, после ареста Чеберяк держали непосредственно в охранном отделении, но к концу июля ее перевели в тюрьму при полицейском участке. Тридцать первого июля у нее появилась новая сокамерница — Анна Дарофеева, только что убившая своего мужа. Чеберяк могла увидеть в сорокалетней Анне родственную душу или женщину, нуждавшуюся в утешении (в конце концов, во многих подобных случаях на решительный и роковой шаг женщину толкал именно мужчина). Но Чеберяк увидела в Анне лишь очередную потенциальную жертву.

Чеберяк завела с Анной разговор, сетуя, что, на ее несчастье, ее сын Женя знал Андриюшу Юцинского, поэтому

ее теперь подозревают в убийстве. Чеберяк начала расспрашивать находящуюся в крайнем расстройстве соседку. Анна сказала Чеберяк, что у нее нет ни детей, ни родных — никто не станет ее искать. Как многие люди, чье сознание не в состоянии вместить постигшую их беду, Анна цеплялась за будничные мелочи. Полиция забрала что-то из ее вещей, и она переживала за их дальнейшую судьбу. Чеберяк заверила Анну, что поможет ей. Ее наверняка скоро выпустят, и она уладит дела Анны. Под руководством Чеберяк Анна собственноручно нацарапала на клочке бумаге расписку. Анна, у которой от пережитого, по-видимому, помутился рассудок, думала, что распиской она всего лишь разрешает Чеберяк забрать ее вещи из полицейского участка на хранение. На самом деле, подписывая бумагу, Анна, по-видимому, давала Чеберяк право распоряжаться всем имуществом, каким она владела.

Освободившись из тюрьмы и похоронив детей, Чеберяк продала вещи Анны Дарофеевой. Пораженная Анна, находясь в тюрьме, получила от Чеберяк открытку, где та сообщала, что вещи проданы за три рубля, из которых Анна не увидела ни копейки.

■ «Ты второй Дрейфус»

Четвертого августа 1911 года в девять утра Менделя Бейлиса перевели из полицейского участка в местную тюрьму примерно в трех километрах от прежнего места заключения, где ему предстояло провести более двух лет.

Сопровождавший Бейлиса городской оказался добрым малым и настоял на том, чтобы они ехали на трамвае. В вагон как раз зашел Степан Захарченко, сосед Бейлиса и владелец дома, где жили Чеберяки. На груди у него красовался значок Союза русского народа: святой Георгий, убивающий змея, а над ним — крест и императорская корона, венчающие девиз «За Веру, Царя и Отечество». Увидев Бейлиса, Захарченко подошел к нему, обнял и расцеловал. «Не бойтесь, — утешал он своего соседа, — не бойтесь, мы о вас позаботимся... Вся Лукьяновка знает, что вы невиновны. Мы сделаем для вас все, что в наших силах. Мы не дадим невинному сгнить в тюрьме. Не бойтесь, не бойтесь!»

Бейлис и его конвоир сошли у Лукьяновского рынка — оттуда было близко до тюрьмы. Проходя мимо прилавка с фруктами, городской купил десять груш и, к изумлению Бейлиса, протянул их ему. Бейлис попытался отказаться, но городской, не слушая возражений, набивал грушами карманы арестанта.

В тюрьме его переодели в арестантскую робу, остригли и сбрили ему бороду. Здесь все знали, в чем его обвиняют, но однокамерники относились к нему неплохо — со своеобразной грубоватой непредубежденностью. Эти люди — многие, несомненно, ожесточившиеся преступники — не считали любого обвиняемого виновным. Они собирались вынести свой вердикт, и вскоре Бейлиса ждал своего рода суд.

Первые публичные дебаты по делу Бейлиса состоялись в зловонной карантинной камере, предвосхитив острые споры,

которые вскоре шли по всей стране. Заключенные взвешивали все обстоятельства, какие могли вспомнить из киевской прессы и какие доносила до них своеобразная тюремная почта:

Они пришли к выводу, что я невиновен и что вся эта история о маце с кровью — чистейшая выдумка, — вспоминал Бейлис. — Один из заключенных подошел ко мне со словами: «Ты второй Дрейфус!» — «Что значит Дрейфус?» — спросил я.

Бейлис ничего не слышал об известном на весь мир деле офицера-еврея, служившего во французской армии и в 1894 году, по сфабрикованному обвинению, приговоренного в пожизненному заключению на Чертовом острове. Этот процесс расколол общество Франции, породив целое движение «дрейфусаров», выступавших за освобождение Дрейфуса. В итоге в 1899 году его освободили и только в 1906 году реабилитировали.

Двадцать пятого августа, примерно в то же время, когда Бейлис был оправдан своими сокамерниками, в дверь квартиры Веры Чеберяк постучали. Чеберяк уже было решила, что теперь ей дадут спокойно дышать и оплакивать своих детей, которые, как заключил патологоанатом, умерли от дизентерии. Что касается убийства Андрея, то у следствия не было никаких доказательств ее вины. Когда ее держали под стражей и допрашивали на протяжении почти шести недель, она не сказала ничего, что могло ей навредить, как и ее покойный сын, а совсем недавно ее освободили по личному распоряжению прокурора Чаплинского. Но когда облаченная в траур Чеберяк открыла дверь, она увидела полицейского, который сказал ей, что она арестована за убийство Андрея Ющинского.

Это была инициатива начальника киевской сыскной полиции Мищука, назначенного на это место годом раньше благодаря связям в Петербурге. Следователь Фененко разделял подозрения Мищука относительно Веры Чеберяк, однако самого Мищука он считал весьма посредственным сыщиком. Фененко был поражен, когда Мищук хвастливо сообщил ему по телефону, что буквально откопал доказательство причастности Чеберяк к убийству Андрея: тайник с уликами находился на Юрковской горе в Лукьяновке.

Фененко прибыл на указанное место и обнаружил там страшно довольного собой Мищука, заявившего, что вещи Андрея, которых не могли найти, обнаружены и дело раскрыто. Он получил анонимное письмо, в котором было указано, где закопаны вещи Андрея, а вместе с ними, как утверждал аноним, и улики против Веры Чеберяк. Полицейские выкопали сверток в желтой бумаге. Мищук был так уверен в его содержимом, что, даже не разворачивая, распорядился арестовать Чеберяк и одного из членов ее шайки.

Теперь сверток лежал во дворе ближайшего дома, где его предполагалось вскрыть при свидетелях, в том числе в присутствии Фененко. Полицейский развернул бумагу, в которую был завернут белый полотняный мешок. В мешке обнаружили остатки сожженной одежды, включая подтяжки, и два металлических стержня. Пошарив в мешке, полицейский извлек оттуда клочки порванного письма, содержание которого не имело никакого отношения к преступлению, но в нем упоминались имена Веры Чеберяк и одного из членов ее шайки.

Мищук был не самым компетентным детективом. Хоть его и отстранили от расследования, он оставался начальником сыскного отделения и упорно не принимал «ритуальную» версию. Сторонникам «ритуальной» версии требовалось убрать его с дороги. Они решили сыграть на его

самомнении и вполне оправданных подозрениях относительно личностей убийц. Через несколько недель после убийства Андрея Мищуку предложил свои услуги в качестве осведомителя некий Семен Кушнир, мелкий преступник. Именно Кушнир передал ему анонимное письмо с указанием тайника, где закопаны предполагаемые улики. Так как письмо подтверждало догадки Мищука, он ни на минуту не усомнился в его подлинности.

Вскоре на месте появился Красовский, который с трудом пробился сквозь толпу, собравшуюся вокруг Мищука. Ему хватило одного взгляда, чтобы понять, что Мищук попал впросак. Металлические стержни были толщиной с небольшую свечу и чуть ли не на тридцать сантиметров длиннее, чем нужно. Красовский сразу понял, что они не могли послужить орудием убийства. Что касается одежды, то среди лоскутов якобы от пальто Андрея он заметил клочок, похожий на оборку женского платья.

Вечером того же дня судмедэксперт подтвердил: найденные стержни не могли иметь к убийству ни малейшего отношения. Кроме того, Андрей никогда не носил подтяжек, к тому же найденные подтяжки принадлежали взрослому. Экспертами было установлено, что сверток пролежал в земле всего два-три дня, то есть «улики» оказались грубой подделкой.

Мищука сняли с должности и вместе с тремя другими полицейскими арестовали по обвинению в фальсификации улики. Позднее Кушнир сознался, что это он написал анонимное письмо. Выяснить, чьи указания он выполнял, не удалось, но не исключено, что инициатива исходила от самого Чаплинского, хотя, возможно, прокурор просто воспользовался случаем избавиться от сыщика, доставлявшего ему слишком много хлопот. Киевский губернатор А. Ф. Гирс

возражал против привлечения полицейских к ответственности, но Чаплинский пригрозил ему бюрократической войной, пообещав чинить препятствия при назначениях ключевых полицейских чинов. Пока разбирали дело Мищука, настоящего расследования с целью выяснить, кто стоял за подделкой, так и не провели.

Вопреки стараниям Чаплинского, через год суд присяжных полностью оправдал Мищука и всех обвиняемых по тому же делу. Но законодательство Российской империи позволяло обжаловать оправдательный приговор, и прокурор воспользовался этим правом, сославшись на ряд сомнительных технических деталей. Апелляционный суд аннулировал вынесенное прежде решение, затем дело передали в суд Харькова, где Мищука приговорили к году тюремного заключения. Вынесенный ему обвинительный приговор следовало расценивать как сигнал: так будет со всяким противником «ритуальной» версии.

Для чиновников, намеревавшихся возложить ответственность за убийство Андрея Ющинского на еврея, Красовский представлял куда большую опасность. Но он был слишком умен, чтобы попасться в примитивную западню. Его врагам пришлось изобрести другой, еще более бесстыдный способ убрать его с дороги, но это будет позже.

А пока Красовский активно вел расследование. Целыми днями он в одежде простого рабочего бродил по улицам Лукьяновки, заводя разговоры со всеми, кто мог что-то видеть или слышать. От ночного сторожа он впервые услышал историю, заполнившую важный пробел в цепочке подозрений вокруг Веры Чеберяк, — отсутствие мотива.

История существовала в двух версиях. Расхождения касались времени, к которому она относилась, но суть оставалась той же. Как-то раз Андрей решил прогулять школу и вместе с Женей и еще одним мальчиком отправился к

пещерам, чтобы там из веток выстругать себе прутик. Андрею достался самый удачный прутик, более длинный и гибкий, чем у Жени. Женя потребовал, чтобы Андрей отдал ему свой, и мальчики поссорились. Женя заявил: «Если ты не отдашь мне прутик, я твоей тетке расскажу, что ты в класс не пошел, а пришел сюда». А Андрей якобы ответил: «Если ты расскажешь, я напишу в сыскное отделение бумагу, что у твоей мамы скрываются постоянно воры и приносят туда краденые вещи». По слухам, Женя передал слова Андрея матери.

Согласно одной версии, ссора произошла за несколько дней или недель до исчезновения Андрея. Выслушав рассказ Жени, двое из банды Чеберяк якобы сказали, что Андрея надо как-то «успокоить», чтобы он не болтал, а при необходимости и «пришить». Поначалу дальше слов дело не пошло. Затем 9 марта арестовали четверых членов шайки Чеберяк, а еще через день к ней домой с обыском пришла полиция. Шайка разыскивала доносчика, и подозрение пало на Андрея. Когда 12 марта он постучался к Чеберякам, чтобы позвать Женю, Чеберяк и ее банда воспользовались случаем разделаться с ним.

По другой версии, мальчики поссорились в то самое утро, когда пропал Андрей. Члены шайки могли заподозрить, что, раз Андрей грозитя на них донести, он, скорее всего, это уже сделал. Когда Женя убежал домой, Андрей снова отправился к нему вместе со своим прутиком, желая, возможно, помириться с товарищем. Там его уже поджидали.

Красовский поручил своим подопечным вести в Лукьяновке расспросы в надежде обнаружить мальчика, который рассказывал эту историю, но безуспешно. Версия звучала вполне правдоподобно, хотя Андрей был здесь ни при чем: в документах полиции указано имя осведомителя, сообщение которого послужило поводом к обыску 10 марта: Евгений Мифле, брат Павла, слепого любовника Веры

Чеберяк. Семейство Мифле стремилось во что бы то ни стало засадить Чеберяк за решетку. Однако обыск в этом отношении ничего не дал.

Через несколько часов после ареста Чеберяк неожиданно отпустили. Возмутительное обращение со стороны начальника киевской сыскной полиции, вероятно, укрепило ее в решении для восстановления своего «доброего» имени обратиться к царю. Николай II чрезвычайно серьезно относился к тысячам прошений, которые получал от рядовых подданных, просивших его о милости и вмешательстве; еженедельно он тратил по несколько часов, просматривая их лично. Николай дорожил этой обязанностью: беря в руки одно прошение за другим, он чувствовал, как оживает исконная мистическая связь между царем и его народом.

Визита Николая II в Киев ждали уже через четыре дня. Среди обрушившихся на Чеберяк бесчисленных неприятностей приезд императора, несомненно, представлялся ей неслыханной удачей, и она не собиралась упускать такой шанс.

Генерал Курлов уже прибыл в Киев, чтобы проследить за принятием мер предосторожности перед приездом царя. Несколькими месяцами ранее он спас киевских евреев от погрома, грозившего им после убийства Андрея. Его задачей оставалось предотвращение беспорядков в городе, но прежде всего он отвечал за безопасность государя. Правда, Курлов внезапно занемог — слег с радикулитом, и пользовал его некий Бадмаев, который лечил всех какими-то травами и снадобьями и который при дворе составлял конкуренцию Распутину.

Распутин должен был сопровождать царя в Киев, чтобы прийти на помощь больному гемофилией семилетнему царевичу Алексею, если у того вдруг откроется кровотечение. Николай и Александра Федоровна верили, что Распутин

получил особый дар от Бога. Придворные врачи оказались бессильны остановить мучительные внутренние кровоизлияния, от которых страдал их сын; отчаявшиеся родители не сомневались, что только человек, которого они называли «Наш Друг», наделен способностью облегчать страдания мальчика. Премьер-министр Столыпин, занимавший одновременно пост министра внутренних дел, видел в Распутине жулика и угрозу для репутации монархии. За истекший год в прессе одна за другой появлялись сенсационные разоблачения «полуграмотного» и «развратного» сибирского мужика. Царю даже предъявили компрометирующие Распутина фотографии, после чего, по настоянию Николая II, в марте 1911 года «старец» покинул страну, отправившись в паломничество на Святую землю. Столыпин попытался добиться его окончательной высылки из столицы, но тщетно. К августу Распутин вернулся, и царская чета встретила его с распростертыми объятиями. Разрушить прочную эмоциональную и духовную связь между ними было невозможно. В годы близости к царской семье Распутин называл Николая II и Александру Федоровну Папой и Мамой (под тем предлогом, что они были «отцом» и «матерью» русскому народу). Распутин видел в царе образец «хорошего, простого, религиозного русского человека», а государь высоко ценил частые и продолжительные беседы с ним. «В минуты сомнения и душевной тревоги, — признался однажды Николай, — я люблю с ним беседовать, и после такой беседы мне всегда на душе делается легко и спокойно». Духовные матери в их беседах соседствовали с политическими, что не могло не беспокоить Столыпина. Более того, за две недели до приезда в Киев Николай доверил «Другу» дело государственной важности: оценить предполагаемого кандидата, который мог заменить Столыпина на посту министра внутренних дел. Распутин сказал этому человеку, что царь

прислал старца «посмотреть его душу». Кажется совершенно невероятным, чтобы малообразованному, нечистоплотному, безнравственному «святому старцу» поручили такое важное государственное дело, однако, похоже, Распутин говорил правду.

Позднее два шарлатана, Распутин и Бадмаев, заключили между собой союз, поспособствовав назначению Александра Протопопова, по слухам, давно уже больного сифилисом, на пост министра внутренних дел. Полусумасшедший Протопопов стал последним в истории Российской империи, кто занимал эту должность. Но в августе 1911 года отношения между Распутиным и Бадмаевым были натянутыми: они плели друг против друга интриги.

Курлов был не в состоянии обеспечить полный порядок в Киеве, так как опыта работы в полиции у него почти не было, и своим продвижением по службе он был в значительной мере обязан покровительству императрицы. Тем не менее меры предосторожности, принятые к приезду императора, впечатляли.

Киевские власти массово отлавливали неблагонадежных. Многие подозрительные лица были арестованы. Вдоль маршрута, по которому царь должен был прибыть в город и выехать из него, через каждые десять метров стоял жандарм. Три сотни зданий, расположенных вдоль главных городских дорог, обыскали от подвала до чердака.

Императорский поезд, состоявший из одиннадцати темно-синих вагонов, отделанных золотом, прибыл в Киев 29 августа. Царя сопровождали императрица Александра и августейшие дети царской четы: четыре дочери, Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, и младший сын, царевич Алексей. Премьер-министр Столыпин и другие члены правительства приехали заранее и вместе с местными сановниками приветствовали на платформе царскую семью.

На станции среди встречающих находился и отец Федор Синькевич, священник, посетивший Женю Чеберяка перед смертью. Он приветствовал царя от имени киевских монархистских организаций. Не исключено, что, когда Синькевич обращался к царю, у него уже имелось «всепопданнейшее прошение» от Веры Чеберяк. Подозрительная сцена, которую священник наблюдал тремя неделями раньше, когда пришел к умиравшему Жене, не поколебала его убежденности, что Андрей убит евреем ради добычи крови, так что Чеберяк преуспела в своем намерении заручиться поддержкой Синькевича. В прошении Чеберяк недоумевала, почему на нее пало подозрение в убийстве Андрея Ющинского. Как женщина «безукоризненной трудовой жизни», «во имя страданий матери, лишившейся двоих детей», она умоляла царя приказать ей открыть ему имена преследовавших ее людей, чтобы она могла «раз навсегда избавиться от этого дела».

Со станции императорские экипажи отправились по почти пятикилометровой дороге к духовному центру города — собору Святой Софии с его белоснежными стенами, темно-зелеными крышами и тринадцатью сияющими золотом куполами. Вдоль улиц, нарядно украшенных знаменами, выстроились благоговейные, ликующие подданные. Николай ожидал таких проявлений любви и поощрял их; он испытывал глубокое удовлетворение, когда простой народ демонстрировал ему свое обожание. Правда, киевлян предупредили, чтобы они не бросали цветы на пути царского экипажа: любой летящий предмет могли принять за бомбу. Когда Николай с семьей прибыл в собор, духовное училище при котором посещал Андрей Ющинский, митрополит помазал их святой водой, и для царя началась неделя официальных мероприятий.

В какой-то из следующих дней царю доложили о ходе расследования по делу Ющинского. Вероятно, 18 мая ему впервые сообщил об этом деле министр юстиции Щегловитов. Можно предположить, что именно тогда император впервые услышал о бедном приказчике-еврее с кирпичного завода. Никаких свидетельств о том, что царь получал другие рапорты о деле Ющинского между маем и своим приездом в Киев, нет.

Для Чаплинского, прокурора Киевской судебной палаты, встреча с царем, несомненно, была одним из величайших событий в жизни. Его беседа с императором длилась несколько минут, но Чаплинскому не требовалось много слов, чтобы рассказать о своих успехах. Он поведал царю: «Ваше величество, я рад сообщить, что найден настоящий убийца Ющинского. Это жид Бейлис».

Сказал ли Николай II что-то в ответ, неизвестно, но, услышав это известие, царь склонил голову и перекрестился.

Николай не любил евреев. Он считал, что они эксплуатируют бедных русских и подогревают революционные настроения. Царь, видимо, был согласен со своим отцом, Александром III, начертавшем на полях рапорта о бедственном положении русских евреев: «Мы никогда не должны забывать, что евреи распяли нашего Господа и пролили Его драгоценную кровь». Николай не призывал к насилию по отношению к евреям, но симпатизировал черносотенцам и был благодарен им за поддержку в борьбе с «нехорошими элементами» во время революции 1905 года.

Отношение Николая II к евреям нельзя назвать примечательным для его эпохи и людей его круга. Даже самые прогрессивные чиновники, такие как бывший премьер-министр С. Ю. Витте, считали евреев либо революционерами, либо капиталистами-кровопийцами. Или, как ни странно, и тем и другим. Как отмечал американский историк,

специалист по истории России Ганс Роггер: и закоренелые реакционеры, и чиновники самых передовых взглядов разделяли уверенность, что «еврейский капитал... сообща с еврейской нищетой вместе поведут атаку на режим». Часто утверждают, что государство цинично использовало антисемитизм, чтобы направить народный гнев в другое русло, но это по большей части заблуждение. Царские чиновники действительно видели в евреях чудовищную, надвигающуюся со всех сторон угрозу. «Еврейский вопрос» для них был реальной и насущной проблемой, а не политической уловкой.

Хотя многие чиновники верили в мировой еврейский заговор и мифический союз еврейского капитала и революционного движения, большинство из них сознавали, сколь бедно живут евреи в черте оседлости. Многие из тех, кто стоял у власти, усматривали в недовольстве евреев угрозу общественному порядку и стремились разрядить обстановку. Они считали, что разумнее всего, приняв ряд суровых мер для предотвращения «еврейской угрозы», пойти при этом и на серьезные уступки.

В октябре 1906 года, когда схлынуло продолжавшееся целый год революционное насилие, премьер-министр Столыпин почувствовал, что настало время смягчить или отменить некоторые из антиеврейских мер, принятых правительством. Многие указы, полагал он, действуют лишь как раздражители, способные подтолкнуть евреев, особенно еврейскую молодежь, к революционной деятельности. В частной беседе Столыпин сказал журналисту:

Евреи бросают бомбы? А вы знаете, в каких условиях живут они в Западном крае? Вы видели еврейскую бедноту? Если бы я жил в таких условиях, может быть, и я стал бы бросать бомбы.

Столыпин не был либералом, но он был целеустремленным реформатором, как известно, заявившим, что, если ему дадут двадцать лет покоя, он преобразит страну. Свою задачу Столыпин видел в создании государства, построенного на верховенстве закона; разумеется, самодержавие никуда бы не делось, но население было бы образованным и появился бы процветающий новый класс независимых крестьян, а ради создания правового государства требовалось хотя бы до некоторой степени улучшить положение евреев.

В начале осени 1906 года, после нескольких заседаний, сопровождавшихся бурными дискуссиями, Совет министров отправил царю на утверждение скромный пакет реформ. Среди них, в частности, фигурировало предложение предоставить евреям, определенное время проработавшим в качестве ремесленников или купцов за чертой оседлости, право на постоянное проживание в этом месте. Другая мера предполагала отмену штрафов, налагаемых на семьи евреев, уклонявшихся от службы в армии. В адресованном царю рапорте Столыпин пространно изложил практические доводы в пользу облегчения участи евреев. Очевидно, он не сомневался, что царь одобрит предложенные меры, так как в рапорте отметил, что возражать против них могут лишь те, кто питает непримиримую ненависть к еврейству.

Николаю потребовалось на ответ почти два месяца. Десятого декабря 1906 года он полностью отверг все предложенные меры, которые в письме назвал «журналом»:

Петр Аркадьевич.

Возвращаю вам журнал по еврейскому вопросу не утвержденным.

Задолго до представления его мне, могу сказать, и денно и ночью, я мыслил и раздумывал о нем.

Несмотря на самые убедительные доводы в пользу принятия положительного решения по этому делу, — внутренний голос все настойчивее твердит мне, чтобы я не брал этого решения на себя. До сих пор совесть моя никогда меня не обманывала. Поэтому и данном случае я намерен следовать ее велениям.

Я знаю, что вы тоже верите, что «сердце Царево в руках Божиих».

Да будет так.

Я несу за все власти, мною поставленные, перед Богом страшную ответственность и во всякое время готов Ему отдать в том ответ.

Что думал на этот счет Столыпин, мы не знаем, но, безусловно, он был шокирован. Придерживавшийся умеренно консервативных взглядов В. Н. Коковцов, единомышленник Столыпина и министр финансов, написал в мемуарах: «Ни в одном из документов, находившихся в моих руках, я не видел такого яркого проявления того мистического настроения в оценке существа своей Царской власти, которое выражается в этом письме Государя своему Председателю Совета Министров». Эпизод с «внутренним голосом» в какой-то мере объясняет и загадочное решение властей возбудить дело именно против Бейлиса.

Высказывалось мнение, что дело Бейлиса составляло часть политической стратегии некоторых чиновников. Таким образом они, по словам ряда исследователей, надеялись сорвать принятие Думой закона об отмене черты оседлости или же в целом, как пишет историк Орландо Файджес, «использовали ксенофобию на благо монархии... чтобы мобилизовать „верноподданных русских“ на защиту царя и традиционного общественного уклада». Но закон об отмене черты оседлости отвергли еще на стадии обсуждения в думском комитете в феврале 1911 года, до исчезновения

Андрея; не было никаких шансов, что его примут. К тому же нельзя сказать, чтобы власти активно эксплуатировали дело Бейлиса, чтобы поднять население на защиту «матушки России». Наоборот, как видно из документов, правительство боялось народного вмешательства на протяжении всего процесса. Еще одна версия, объясняющая преследование Бейлиса давлением со стороны праворадикалов, тоже звучит неубедительно: праворадикалы были порождением режима, сильно зависели от государства, втайне финансировавшего их общества, и, кроме того, увязли в ожесточенных распрях — Союз русского народа раскололся на три соперничавшие между собой организации. При желании правительство вполне могло поставить праворадикалов на место. Можно предположить, что сановники, фабриковавшие дело Бейлиса, руководствовались не желанием мобилизовать народ или решить некие политические задачи, а стремлением угодить царю, основываясь на их понимании его личных убеждений, и продвинуться по службе.

Правда, одному члену правительства дело Бейлиса, без сомнения, внушало отвращение и тревогу. В начале сентября, когда приказчик кирпичного завода находился в карантинной камере, надежда избежать суда для него была сопряжена прежде всего с возможным вмешательством председателя Совета министров П. А. Столыпина. Столыпин не считал евреев безнадежно порочным народом, а скорее видел в евреях политическую и социальную проблему, которую, если бы царь позволил, можно было решить политическими средствами. Не сохранилось никаких свидетельств о точке зрения Столыпина на дело Бейлиса, но трудно поверить, чтобы он думал, что суд над евреем за убийство христианского мальчика отвечает интересам государства. Такое показательное зрелище лишь усугубило бы неприязнь евреев к правительству. К тому же Столыпин был серьезно

обеспокоен влиянием типичных для России антисемитских эксцессов на образ империи за рубежом и на ее внешние экономические отношения. Осенью 1911 года Столыпина тревожила активная лоббистская кампания — первый в истории пример такого рода, — возглавляемая финансистом Джейкобом Шиффом, который призывал аннулировать русско-американское торговое соглашение 1832 года, наказав Российскую империю за ее антиеврейскую политику. Дело о ритуальном убийстве лишь прибавило бы доводов сторонникам этой кампании.

Позднее один прагматичный единомышленник Столыпина утверждал, что премьер-министр никогда бы не допустил, чтобы делу Бейлиса дали дальнейший ход. В предшествующий год Столыпин проявил политическую твердость, попытавшись добиться высылки двух царских любимцев — «безумного монаха» Илиодора и Распутина. Во время введения земства в западных губерниях он выдержал яростный натиск праворадикалов, поэтому, вероятно, сумел бы помешать нелепому процессу, открытого одобрения которому царь не выражал.

Жизнь Столыпина приходилось охранять ежечасно. За пять лет, что он занимал свой пост, на Столыпина покушались около семнадцати раз, причем самой масштабной попыткой был взрыв его дома, убивший двадцать семь человек и ранивший двух его детей. Он прекрасно понимал, сколько у него врагов. Завещание, написанное за несколько лет до его убийства, начиналось словами: «Я хочу быть погребенным там, где меня убьют».

Главное мероприятие, приуроченное к приезду царя, — открытие памятника Александру II — обошлось без происшествий, равно как и другие уличные мероприятия, особенно рискованные с точки зрения охраны. Назначенное на 1 сентября представление оперы Римского-Корсакова

«Сказка о царе Салтане» в киевском городском театре, где должны были присутствовать члены царской семьи, не вызывало никаких опасений. Попасть в театр мог лишь обладатель специального пропуска — самого редкого из двадцати шести видов пропусков, выдаваемых тогда в Киеве. Охраной театра руководил лично Кулябко, начальник Киевского охранного отделения.

Царь с двумя дочерьми в сопровождении князя, наследника болгарского престола, сидели в ложе киевского генерал-губернатора, самой близкой к сцене. (Императрица Александра в тот вечер чувствовала себя нездоровой и на представление не пошла.) Первый ряд партера был занят наиболее высокопоставленными чиновниками. Столыпин расположился в пятом кресле, между генерал-губернатором Ф. Ф. Треповым и министром императорского двора бароном В. Б. Фредериксом. Когда в антракте зажегся свет, премьер встал и облокотился на барьер оркестровой ямы. Пока он беседовал с бароном Фредериксом и другим сановником, в ряд, где они сидели, проскользнул худощавый молодой человек и остановился примерно в полутора метрах от Столыпина. Молодой человек вынул из кармана пистолет и дважды выстрелил. Одна пуля попала Столыпину в руку, а от другой на правой стороне груди появилось красное пятно, причем пуля раздробила висевший на ленте орден. Киевский губернатор А. Ф. Гирс так описывал эту сцену:

Петр Аркадьевич как будто не сразу понял, что случилось. Медленными и уверенными движениями он положил на барьер фуражку и перчатки, расстегнул сюртук и, увидя жилет, густо пропитанный кровью, махнул рукой, как будто желая сказать: «Все кончено». Затем он грузно опустился в кресло и ясно и отчетливо... произнес: «Счастлив умереть за царя».

Каким-то образом получилось, что премьер-министр остался вообще без охраны, в ста шагах от него не оказалось ни одного жандарма. Чтобы не дать убийце возможности выстрелить в третий раз, около сорока присутствовавших повалили его на пол и били театральными биноклями, подстрекаемые криками других зрителей: «Убейте его!», но подоспевшая полиция не дала забить его до смерти.

Помощь Столыпину оказали лучшие киевские врачи. Поначалу они надеялись, что премьер выживет. Но по прошествии трех дней Столыпину стало хуже, и 5 сентября 1911 года он скончался.

Дмитрий Богров, убийца премьера, двадцатичетырех-летний анархист, юрист по образованию, время от времени выполнявший функции осведомителя тайной полиции, оказался евреем. (Кулябко разрешил Богрову, которого считал своим агентом, пройти в театр, поверив, что он якобы способен предотвратить покушение на жизнь премьер-министра.) Богров, родившийся в состоятельной и значительно ассимилировавшейся семье, был евреем лишь по происхождению, но после убийства значение имел только неоспоримый факт его этнической принадлежности. Черносотенные провокаторы своими речами подогревали ненависть толпы. На следующий день после смерти Столыпина банда, насчитывавшая примерно двадцать человек, бросала камни в еврейских студентов и нападала на евреев-торговцев на Александровской улице. Тысячи киевских евреев толпились на вокзале, намереваясь бежать из города.

Допросить убийцу Столыпина поручили следователю Фененко. Мотивы Богрова оставались не вполне ясны, но, по видимому, в первую очередь им двигало стремление восстановить свою репутацию: товарищи-анархисты узнали о том, что он являлся полицейским осведомителем, и потребовали доказательств его верности. (Такое случалось нередко,

поскольку в общества революционеров втирались многочисленные доносчики.) Оправдать Богрова мог лишь грандиозный террористический акт, ставивший под угрозу его собственную жизнь. На допросах Богров с горечью говорил о нетерпимости властей по отношению к евреям, а это значит, что происхождение могло сыграть свою роль в принятии им такого решения. Однако поступок Богрова — казненного всего через одиннадцать дней после рокового выстрела — можно отнести и к многочисленным романтическим самоубийствам. В последние годы династии Романовых добровольная смерть молодых мужчин и женщин, разочаровавшихся в жизни, превратилась в эпидемию, моду, манию; охваченные смертельным любопытством, читатели разворачивали утренние газеты, чтобы узнать о самых оригинальных актах отчаяния, нередко облеченных в форму социального протеста. За несколько месяцев до покушения в письме к другу Богров признавался, что ему «тоскливо, скучно, а главное одиноко», что у него «нет никакого интереса к жизни», не сулящей ему «ничего, кроме бесконечного ряда котлет», которые он еще успеет съесть. Когда Богрова разоблачили как осведомителя, он имел возможность бежать за границу, но предпочел остаться и отправился в киевский театр. Выбранный им способ самоуничтожения призван был потрясти и ввергнуть в растерянность все общество.

Новый премьер-министр В. Н. Коковцов твердо намеревался не допустить никакого насилия по отношению к евреям. Он заверил депутацию обеспокоенных евреев, что примет самые решительные меры для предотвращения погрома, и выполнил обещание. В преимущественно еврейские районы Киева было направлено три полка казаков, а соседним губернаторам было приказано при необходимости

применять силу, чтобы остановить погромы на подведомственных им территориях. Николай II одобрял действия нового премьер-министра; он тоже не хотел беспорядков.

Случившееся вызвало многочисленные пересуды. Как Дмитрий Богров, вооруженный, с настоящим пропуском, смог проникнуть в театр и практически в упор застрелить премьер-министра? Поползли слухи, что Столыпин был убит в результате заговора правых, действовавших с молчаливого согласия тайной полиции. Полковника Кулябко за халатность приговорили к условному сроку. Говорили, что генерал Курлов плел интриги против Столыпина, даже вскрывал письма премьер-министра, надеясь найти в них компрометирующий материал. Однако расследование в отношении Курлова царь прекратил, а потому толки о заговоре, стоявшем за убийством премьер-министра, так и не утихли.

Бейлис не мог знать, каким бедствием стала для него смерть Столыпина, который был, пожалуй, единственным человеком во всей империи, способным ему помочь. Коковцов, при всей своей порядочности, не мог считаться фигурой сопоставимого масштаба — он умел поддерживать порядок, но не вести политические баталии. Сама смерть Столыпина не предвещала Бейлису ничего хорошего, еще хуже было то, что премьер погиб от руки еврея. Правая пресса, при жизни поносившая Столыпина, теперь преклонялась перед ним. «Русское знамя», газета Союза русского народа, даже уверяла, что еврейские заговорщики убили Столыпина, так как им не удалось подкупить его, чтобы тот покрыл ритуальное убийство и оставил Менделя Бейлиса безнаказанным. Раньше правительство еще могло бы прекратить дело Бейлиса, теперь это было немыслимо.

И все же после смерти Столыпина Бейлис стал получать помощь из самых неожиданных мест. А из мрачной и

вероломной среды, в которой вращались такие, как Богров, впоследствии явились два его потенциальных спасителя.

Что касается Веры Чеберяк, ее «Всепогоднейшее прошение» было передано царю 4 сентября, перед его возвращением в Петербург. Никаких свидетельств о том, получила ли она ответ, у нас нет. Зато нам известно, что на этом Чеберяк не успокоилась, решив пустить в ход всю свою хитрость, чтобы отвести от себя подозрения.

■ «Чеберяк знает всё»

В середине сентября 1911 года, после месяца в грязной карантинной камере, Менделя Бейлиса перевели в другую, где содержались около тридцати человек. И поначалу некоторые заключенные встретили его дружелюбно. Среди них было двое евреев — один сидел за воровство, другой, торговец по фамилии Айзенберг, за подделку векселя.

В тюрьме Бейлису не разрешили ни писать, ни получать писем, да у тюремного начальства и не было таких полномочий. Единственная связь с семьей состояла в пакетах с едой, которые он каждое воскресенье получал из дома, но передачи у него отнимали сокамерники, оставляя ему жалкие крохи.

Бейлис часами ходил по камере из угла в угол, и гвозди, торчавшие из грубо сколоченной тюремной обуви, врезались ему в ступни. Ходить становилось мукой. Как-то, примерно через неделю после перевода в новую камеру, он сел на стул, но один из сокамерников приказал ему встать, а когда Бейлис не подчинился, ударил его. Вокруг столпились другие заключенные.

Айзенберг объяснил Бейлису, что это проверка на надежность — «анализ» на тюремном жаргоне, — и тот должен молчать и ни в коем случае не жаловаться тюремному начальству, иначе заключенные расправятся с ним. Бейлис сделал над собой усилие и перестал кричать от боли. Кто-то принес ему воды, он смыл с лица кровь. Смотритель, заметив, что Бейлиса били, захотел найти виновного. Бейлис промолчал, но другой заключенный указал на обидчика. Смотритель увел Бейлиса и того заключенного с собой, избил последнего и даже столкнул с лестницы, так что Бейлис испугался, что тот сломает себе шею.

И хотя сам Бейлис не пожаловался начальству, смотритель считал небезопасным оставлять его в камере номер пять. Его перевели в камеру номер девять, известную как «монастырь». Она предназначалась для заключенных, которым грозила смерть от рук сокамерников. Там Бейлис мог не бояться покушений на свою жизнь, но новое пристанище таило в себе другие опасности.

В середине сентября, вскоре после убийства Столыпина, брат Менделя Бейлиса Арон вместе с Эстер, женой Менделя, встретился с Арнольдом Давидовичем Марголиным, одним из самых известных киевских адвокатов. Тридцатичетырехлетний Марголин прославился тем, что защищал жертв погромов и евреев, организовывавших отряды вооруженной самообороны для борьбы с мародерами из «Черной сотни». Пламенный сионист, он занимал пост председателя российского отделения Еврейского территориалистического общества, стремившегося к созданию еврейского национального государства, но не в Палестине, а на другой территории (члены этой группы считали возвращение на землю предков нереалистичным и рассматривали другие возможные территории для заселения, в частности Уганду и Анголу). Кроме того, Марголин был сыном одного из богатейших людей России, мультимиллионера Давида Марголина, владельца двух пароходных компаний и нескольких сахарных заводов. Молодой Марголин располагал связями, какими в Киеве не мог похвастать ни один еврей.

Как и большинство представителей киевской элиты, Марголин был уверен: то, что убийца Столыпина оказался евреем, крайне неприятное обстоятельство, но дело Ющинского непременно прояснится, и Бейлиса выпустят на свободу. Он искренне не мог поверить, что власти будут продолжать процесс по обвинению в ритуальном убийстве. Но в данный момент мало что мог предпринять. Согласно

российской судебной системе, до завершения предварительного следствия, составления обвинительного акта и передачи дела в суд адвокат не мог ни на что влиять.

Но Марголин не собирался сидеть сложа руки и начал собирать адвокатскую команду. Он встретился со следователем Фененко, которого хорошо знал, и то, что Марголин от него услышал, одновременно обнадеживало и внушало тревогу. Фененко хотел во всеуслышание объявить, что считает Бейлиса невиновным, и попросил Марголина частным образом передать его мнение лидерам еврейской общины. «Улики против Бейлиса смехотворны и нелепы, — решительно заявил Фененко. — Я убежден, что через несколько дней он будет на свободе». Фененко был человеком слишком здравомыслящим, чтобы предположить, что делу будет дан ход.

Марголина обеспокоило, что Бейлиса арестовали, несмотря на категорические возражения Фененко. Он заручился согласием лидеров киевской еврейской общины на формирование комитета для защиты Бейлиса. В него вошли Шломо Аронсон, «духовный раввин» Киева (в отличие от официального «казенного раввина», получавшего жалование из государственной казны), Марк Зайцев, сын Ионы Зайцева, основателя семейного сахарного завода, доктор Г. Б. Быховский, старший врач зайцевской больницы, и три адвоката, включая самого Марголина. Первым делом члены комитета отправили телеграмму ведущему еврейскому адвокату Российской империи Оскару Грузенбергу с просьбой как можно скорее приехать в Киев. Грузенберг прославился в первую очередь политическими делами. Он защищал Льва Троцкого, одну из центральных фигур революции 1905 года (в итоге Троцкого приговорили к ссылке, из которой он без труда бежал), и представлял в суде Максима Горького, когда писателя обвиняли в подстрекательстве к вооруженному

мятежу. Коллеги-адвокаты относились к Грузенбергу с глубоким уважением за мастерство, которое он продемонстрировал на процессах, переданных в апелляционный суд, где требовались несокрушимые доводы, четко обоснованные буквой закона. Он обладал уникальным практическим опытом, полезным для намечавшегося дела: Грузенберг успешно защищал в Вильне Давида Блондеса, парикмахера, десятью годами ранее обвиненного в покушении на ритуальное убийство. Грузенберг приехал в Киев и встретился с членами комитета, чтобы обсудить план действий на случай, если Бейлису все же предъявят официальное обвинение в убийстве. В следующие несколько недель осени 1911 года он время от времени возвращался в Киев для консультаций.

Грузенберг и Марголин относились друг к другу с огромным уважением, но их взгляды на тактику, которой надлежало придерживаться в этом деле, существенно расходились. Марголин выступал за активную защиту на всех фронтах — на публике и за кулисами. Грузенберг такой позиции не одобрял. Серьезные расхождения между ними, вероятно, объяснялись разницей в их судьбах и в отношении к собственному еврейству. Грузенберг был настолько русским, насколько им мог быть еврей, не перешедший в православие. Он родился в 1866 году в украинском городе Екатеринославе (нынешнем Днепропетровске), но вырос в Киеве, откуда переехал в Петербург ради адвокатской практики. На протяжении всей жизни он с большой любовью относился к русскому языку и культуре. (Его воспоминания, написанные через несколько десятилетий после процесса, начинаются словами: «Первое слово, которое дошло до моего сознания, было русское».) К еврейской культуре он подобной привязанности не испытывал, не говорил на идише и практически не получил религиозного образования. И хотя никогда не

отрекался от своего еврейства, он не ощущал связи с еврейским народом, а религиозность вызывала у него отторжение из-за ее «театральности».

В отличие от него, Марголин так охарактеризовал свои ранние годы:

Еврейская среда, синагога, русский язык и русская школа, украинская деревня, украинская песня... И долго, мучительно долго метался я в исканиях всех этих восприятий и ощущений.

Отцу Марголина лучше удалось выдержать баланс между просвещением и религией. Сын учился в русской гимназии, но семья строго соблюдала еврейские обычаи; Марголин изучал иврит и в тринадцать лет, по достижении возраста бар-мицвы, прочел в синагоге отрывок из Торы. В то же время он испытывал глубокую привязанность к родному Киеву и Украине. К зрелому возрасту он уже разрешил свои внутренние противоречия, и его культурные ориентиры сосуществовали в гармоничном единстве. В отличие от Грузенберга, в роли современного еврея он чувствовал себя вполне комфортно.

Грузенберг боролся за права евреев в строгих рамках, очерченных профессией. Его оружием был, по его выражению, «железный хлыст закона», которым он умело владел. Марголин был энтузиастом по натуре. Закон составлял лишь один из инструментов в его арсенале. Он все больше укреплялся в мысли, что Менделю Бейлису нужна не просто защита. Недостаточно было показать, что обвиняемый не виновен — надо было найти действительных виновников. Марголин задумал найти настоящих убийц.

Вера Чеберяк не знала о плане Марголина, но у нее имелось достаточно причин чувствовать себя загнанной в угол. В прессе, поддерживавшей Бейлиса, не прекращались

насмешки в адрес Чеберяк; ее имя стало синонимом злодейства. (Газета «Киевлянин» с легким сарказмом называла Веру Чеберяк «женщиной известной репутации».) Теперь, когда большая часть ее шайки находилась в тюрьме или под надзором полиции, она утратила способность запугивать. Люди охотно давали против нее показания. Она находилась под следствием по обвинению по меньшей мере в четырех преступлениях, включая кражу, укрывательство краденого и подделку, и боялась, что ее друзья — если они вообще когда-либо были таковыми — пойдут в полицию и расскажут о других ее преступлениях.

Больше всего Чеберяк опасалась, как бы не всплыло что-либо, позволяющее связать ее с убийством Андрея. Правда, ее главный враг, Красовский, срок назначения которого в Киев истек, вернулся в город Ходорков, на свое постоянное место. Красовский не хотел продолжать вести это дело. Он не хотел видеть невинного за решеткой, дело не сулило ему ничего, кроме неприятностей. Однако, полагая, что с его отъездом интриги против него прекратятся, он ошибался. Пройдет еще несколько месяцев, и его снова втянут в это дело, причем он вынужден будет бороться не только за свободу Менделя Бейлиса, но и за свою собственную. А пока он мог вернуться домой, на тихую работу в провинции.

Околоточный надзиратель Евтихий Кириченко, способный протезе Красовского, продолжал заниматься этим делом и тщательно искал улики против Чеберяк. Кириченко не мог отделаться от зловещего впечатления, какое произвело на него выражение ярости и страха на лице Чеберяк при упоминании имени Андрея во время допроса ее сына Жени. Кириченко начал обходить места, где они уже бывали вместе с Красовским, повторно опрашивая людей в поисках новых улик. Через несколько недель он обнаружил потенциального свидетеля преступления.

Зинаида Малицкая проживала прямо под квартирой Чеберяк в доме номер сорок на Верхней Юрковской улице. Кириченко сам наблюдал вражду двух женщин, когда Чеберяк набросилась на Малицкую за то, что та дразнила ее во время обыска в ее доме. Тогда Малицкая только сказала следователю, что Чеберяк — «женщина подозрительная» и что она, без сомнения, когда-нибудь попадет на каторгу. Кириченко не давало покоя чувство, что Малицкая знает больше, чем говорит. Десятого ноября он снова начал ее расспрашивать. В этот раз она рассказала, что утром за несколько дней до обнаружения тела Андрея слышала наверху подозрительный шум.

Планировка квартиры Малицкой, находившейся на первом этаже и примыкавшей к казенной винной лавке, где она работала сиделицей, в точности совпадала с планировкой в квартире Чеберяк: прихожая, кухня, маленькая комната слева, еще одна маленькая комната справа и комната побольше в дальней части помещения. По словам Малицкой, ей не составляло труда определить, из какого места исходит звук любого шага над ней. В то мартовское утро, о котором идет речь, около одиннадцати часов, когда в лавке не было покупателей, Малицкая ненадолго отошла в свою квартиру. Она услышала, как наверху, у Веры Чеберяк, хлопнула входная дверь, затем шорох шагов у двери. Малицкая утверждала, что различает шаги всех Чеберяков, поэтому уверена, что у двери стояла Вера Чеберяк. Вот что Малицкая рассказала дальше:

Я ясно услышала легкие детские быстрые шаги по направлению к двери, ведущей из залы большой комнаты в маленькую комнату, направо от передни. Затем раздались быстрые шаги взрослых человек по направлению к той двери, к которой были слышны детские шаги. Вслед за этим я ясно услышала сначала детский плач, затем писк. И наконец какую-то возню. Я

и тогда думала, что в квартире Чеберяковой что-то необычное и что-то странное.

Малицкая несколько месяцев ждала, прежде чем рассказать свою историю. По ее словам, она боялась Чеберяк и надеялась, что полиция и так в конце концов разберется, но муж сказал ей, что она обязана сообщить все, что ей известно. Фененко показалось, что Малицкая заслуживает доверия, и его уверенность, что за убийством Андрея стоит Чеберяк и ее шайка, только укрепились.

Место в «монастыре», камере номер девять, дорого стоило Бейлису. В камере было куда менее людно — всего четырнадцать человек, сокамерники были не такими грубыми, а условия жизни выгодно отличались от камеры номер пять. Чувство нависшей угрозы прошло, и у Бейлиса даже появился друг — Иван Козаченко, худощавый тридцатилетний мужчина, с которым у него было много общего. Козаченко рассчитывал на оправдательный приговор, а значит, мог оказать ему услугу на свободе. Пока же Козаченко вызвался тайком передавать от него на волю письма: по его словам, это делал за плату один из надзирателей. Бейлис не мог поверить своему счастью, а верить ему и правда не следовало: Козаченко был полицейским осведомителем.

Его поместили в одну камеру с Бейлисом по распоряжению подполковника Иванова, помощника начальника киевских жандармов, участвовавшего в расследовании убийства Ющинского. Впоследствии некоторые современники тех событий и историки пришли к выводу, что подполковник Иванов с самого начала задался целью сфабриковать улики против Бейлиса. В действительности здесь вмешался случай. На данном этапе Иванов честно вел расследование. В виновность Бейлиса он не верил. Подсадив к нему осведомителя, можно было разве что содействовать его оправданию

(хотя Иванов и не ставил себе такой цели). Но все обернулось иначе.

Вначале Бейлис передал через Козаченко маленькую записку жене, написанную по-русски другим заключенным, так как Бейлис по-русски писал с большим трудом. Затем, собираясь выйти на свободу, Козаченко предложил Бейлису собственноручно подписать более длинное письмо, в котором тот просил жену вознаградить Козаченко за его помощь и вообще доверять ему как другу. Взяв карандаш, Бейлис нацарапал внизу страницы приписку на корявом русском: «Я Мендель Бейлис не беспокойся на этот человек можно надеичи так как и сам». Когда Козаченко настало время уходить, Бейлис заплакал и умолял его сделать хоть что-нибудь, чтобы вытащить его из тюрьмы. Козаченко твердо обещал помочь.

Это письмо он не собирался передавать властям, рассчитывая получить от семьи Бейлиса деньги за мнимую помощь, тем более что Бейлис даже предлагал оплатить его счет за адвоката. Но на выходе из тюрьмы Козаченко предупредили, что, согласно правилам, его должны обыскать. Пришлось признаться надзирателю, что у него есть письмо для семейства Бейлиса.

Козаченко любил сочинять небылицы и лгал очень убедительно; даже соседи по камере номер девять поверили, что он когда-то служил в полиции. Почему он поступил так, как поступил, неизвестно, но, возможно, его поведение объясняется просто: он всеми фибрами души ненавидел евреев. Когда ему преградили выход из тюрьмы и велели давать объяснения по поводу контрабандного письма, в сознании Козаченко, по всей видимости, слились страх и ненависть.

Послание может показаться безобидным, пояснил он, но на самом деле это рекомендательное письмо, которое он

должен вручить еврейской клике, призванной помешать следствию. Его немедленно отправили на допрос к следователю Фененко. Там Козаченко сделал заявление: Бейлис поручил ему отравить двух свидетелей — фонарщика Шаховского и человека по прозвищу Лягушка. «Я изъявил свое согласие, — сказал Козаченко, — но, конечно, этого не сделал бы, так как не хочу, чтобы жид пил русскую кровь...» Бейлис, по словам Козаченко, велел ему расправиться со свидетелями, подмешав стрихнин в водку. Стрихнин ему якобы должны были дать в еврейской больнице, расположенной близ завода. Как утверждал Козаченко, Бейлис велел ему избавиться от фонарщика, потому что тот видел его с Андрюшей Ющинским. Что он имел против Лягушки, Бейлис якобы не объяснил. Козаченко якобы пообещали пятьсот рублей на расходы, но, если бы он выполнил эту чудовищную миссию, ему «дали бы столько денег, что хватило бы на всю... жизнь, причем деньги эти дала бы вся еврейская нация».

Одно в этом диком заявлении звучало правдоподобно. По словам Козаченко, Бейлис выразил уверенность, что «если его осудят, то пострадает вся еврейская нация». Бейлис и вправду начал осознавать особое значение своего дела и то, что от его участи и поведения зависит честь еврейского народа. Эта мысль будет поддерживать его в тюрьме и — без преувеличения — спасет ему жизнь. Не исключено, что впервые он поделился ею со своим мнимым другом.

Козаченко допросил подполковник Иванов, руководивший независимым расследованием убийства, которое проводило жандармское управление. Иванов решил проверить правдивость истории, рассказанной Козаченко, и послал его на завод Зайцева, чтобы тот представился бывшим сокамерником Бейлиса и собрал сведения. Иванов установил за Козаченко слежку и после каждой вылазки расспрашивал его. В конце концов он поймал Козаченко на явной лжи: тот

придумал встречу с братом Бейлиса Ароном, которой не было. Иванов пригласил в комнату агентов, следивших за Козаченко, устроил им очную ставку, и Козаченко признался, что «все наврал».

Иванов сразу сообщил Фененко, что Козаченко дал ложные показания, и хотел составить об этом рапорт, но вмешался прокурор Чаплинский, который сказал, что рапорт составлять не нужно, все и так выяснится в процессе расследования. На самом деле Чаплинский собирался оставить в силе обвинение, озвученное Козаченко. Его показания остались в протоколе, а официального опровержения так и не последовало. Чаплинский полагал, что на основе таких «не вполне устойчивых» показаний можно выстроить прочное обвинение. Неважно, что часть этой истории вообще не имела смысла: Лягушка (сапожник Наконечный) дал показания в защиту Бейлиса. Чаплинский доложил министру юстиции Щегловитову, что свидетельство Козаченко достаточно подкрепляет имевшиеся улики, чтобы составить обвинительный акт.

Козаченко не наказали за лжесвидетельство, а Бейлис жестоко поплатился за попытку украдкой передавать письма. Через два дня после того, как он попрощался с Козаченко, Бейлиса вызвали к тюремному начальству, где показали два написанных им письма. За нарушение тюремных правил его перевели в темную, холодную одиночную камеру.

* * *

Расследование затягивалось, вероятность, что Бейлису предъявят официальное обвинение, росла, и для Марголина это означало, что требуется срочно установить настоящих убийц. Осторожный Фененко, который, конфиденциально переговорив с Марголиным, и так сильно рисковал, не мог

предложить никакой конкретной помощи. Марголин понимал, что надо попытаться как-то установить связи с преступным миром.

Доступ туда открылся благодаря нелепому персонажу — журналисту Степану Бразуль-Брушковскому, который вел частное расследование убийства Ющинского. Бразуль, как и «студент Голубев», буквально помешался на этом деле, что вызывало насмешки коллег из «Киевской мысли». Он придерживался либеральных взглядов и был женат на еврейке, поэтому в буквальном смысле являлся филосемитом. Как журналист он имел весьма скромную репутацию, дарованиями не блистал, а как детектив отличался неуклюжестью и смехотворной доверчивостью. Но, несмотря на всю нелепость его расследования, ему удалось пролить слабый свет на возможный сценарий убийства Андрея.

Бразуль был знаком с Красовским и несколько раз к нему обращался, предлагая сообща взяться за дело Ющинского. Красовский, что вполне понятно, отнесся к предложению Бразуля без энтузиазма. Однако они продолжали общаться, и Красовский рассказал Бразулю, как его угнетает арест ни в чем не повинного человека. Больше он не мог сообщить журналисту ничего конкретного, но дал совет заняться Верой Чеберяк. Однако Бразуль понял его слова так, что Чеберяк просто-напросто располагает ценными сведениями, и «занялся» ею с наивным упорством.

Молодой журналист стал искать встречи с Чеберяк, и в течение нескольких недель она рассказывала ему о своих умерших детях, уверяя, что их кто-то отравил. Фененко и подполковник Иванов, по ее словам, не давали ей покоя, без причины подозревая в причастности к убийству мальчика. Двадцать девятого ноября она заявила ему, что, хотя не знает виновного, могла бы его найти, высказав предположение, что изначальная версия о причастности отчима и дяди может

оказаться правдой. Бразуль ей тут же поверил. Коллега, сопровождавший его на одну из встреч, сказал ему прямо: «Эта женщина, должно быть, всегда лжет, она лжет даже и тогда, когда говорит правду. И если она во сне бредит, то и в бреду, вероятно, лжет». Бразуль пропустил его слова мимо ушей.

Первого декабря Бразуль зашел к Вере Чеберяк и застал ее с забинтованной головой. Она рассказала, что накануне поздно вечером на нее напали двое и ударили по голове «шоколадкой», то есть куском железа. Было слишком темно, но она была уверена, что одним из них был Павел Мифле, в которого она плеснула когда-то серной кислотой. Чеберяк заверила Бразуля, что Мифле наверняка замешан в убийстве, а с ним Лука, отчим Андрея, а также брат и мать Мифле. Чеберяк заверяла, что ей необходимо съездить в Харьков, чтобы там в тюрьме переговорить с заключенным, который знает больше. Бразулю показалось, что этот рассказ звучит вполне правдоподобно.

Он решил, что обладает сенсационной информацией. Бразуль был хорошо знаком с Марголиным, и он сообщил адвокату, что напал на след убийцы Андрея, но тот отнесся к его словам скептически. Поэтому вначале, когда Бразуль предложил устроить ему встречу с Чеберяк, Марголин отказался, однако позднее, переговорив с Фененко, понял, что ему стоит с ней увидеться.

Марголин сказал Бразулю, что готов встретиться с Чеберяк, только если будут приняты меры к сохранению его инкогнито, поскольку он как адвокат не должен был вмешиваться в ход расследования. Он как раз собирался по делам в Харьков, и там — почти в пятистах километрах от Киева — готов был встретиться с ней. Похоже, он сознавал, насколько рискует: эта встреча могла привести к обнаружению убийцы Андрея и оправданию Бейлиса — а могла кончиться катастрофой для защиты, дав присяжным повод поверить,

что евреи пытаются переложить вину на православную женщину.

В итоге Марголин, сохраняя инкогнито, встретился в Харькове с Чеберяк и выслушал ее запутанную историю, придя к выводу, что все рассказанное ею — ложь. Из этой встречи он вынес уверенность, что Чеберяк сама причастна к убийству Андрея. Во время их встречи Марголин большей частью молчал, но все же поинтересовался у Чеберяк предполагаемыми мотивами убийства. Почему, спросил он, убили Андрея? Андрея, ответила Чеберяк, умертвили Мифле и подлая шайка «профессиональных воров» потому, что мальчик знал, чем они занимаются, и был «опасным свидетелем».

* * *

К концу декабря Фененко стало ясно, что ему не удалось пресечь попытки обвинить Бейлиса в убийстве Андрея Ющинского. Он был уверен, что в ходе следствия нелепость обвинений окажется вопиюще самоочевидной и дело против Бейлиса закроют. Но Чаплинский требовал, чтобы Фененко объявил расследование завершенным, иначе судебное законодательство не позволяло составить обвинительный акт. Прокурор хотел начать новый год с громкого дела.

Правда, Чаплинского тревожила скудость улик, которые сам он признавал «не вполне устойчивыми». Необходимо было срочно найти — или сфабриковать — новые улики. Так возник странный союз, определивший ход дела. Чаплинский, прокурор Киевской судебной палаты, пошел на сотрудничество с Верой Чеберяк. Позднее они встретятся и сговорятся. Но пока между ними возникло лишь молчаливое соглашение, удовлетворявшее запросам честолюбивого чиновника и преступницы-социопатки. В эти дни, за неделю

до Рождества 1911 года, каждый из них приводил в исполнение свой план, стремясь сделать обвинение более убедительным.

Двадцатого декабря Вера Чеберяк отправила своего мужа Василия к Фененко с новой историей. Василий был всецело во власти Чеберяк. Он сделал бы все, чего она хотела. Еще несколько месяцев назад он мечтал, чтобы ее арестовали, теперь же был готов на что угодно, чтобы отвести от нее подозрения. По его словам, родственники Андрея были «люди простые», и Василию «не хотелось, чтобы [его] мальчик гулял с таким мальчиком». Подчеркнув, что его покойный сын стоял выше своего покойного товарища, Василий выложил байку, сочиненную для него женой: «...в квартиру прибежал, запыхавшись, Женя и, когда я его спросил, где он был, он мне рассказал, что вместе с Андрюшей Ющинским он играл на мяле в кирпичном заводе Зайцева, и что там их видел Мендель Бейлис и погнался за ними».

Согласно новой версии, Женя вырвался из лап евреев, а Андрей — нет. Чаплинский мог радоваться, что наконец-то у него появился приличный свидетель, впутавший Бейлиса в подозрительную историю.

Чаплинского беспокоила еще одна проблема: результаты вскрытия не подтверждали версию о ритуальном убийстве. Судебно-медицинский эксперт А. М. Карпинский, делавший первое вскрытие, пришел к выводу о жестоком импульсивном, а не «ритуальном» убийстве. В отчете о втором вскрытии, представленном 25 апреля, основной причиной смерти было названо «почти полное обескровливание тела» (как уже отмечалось, это сомнительное заключение свидетельствовало о давлении Чаплинского, и на суде защита яростно оспаривала его). Но даже вторая экспертиза не указывала определенно, что преступление совершено с целью обескровить тело.

Фененко, видимо, не по своей инициативе, допросил профессора Н. А. Оболонского и прозектора Н. Н. Туфанова, проводивших второе вскрытие. Он вынужден был задать обоим совершенно необоснованный отвлеченный вопрос: «Если из тела Ющинского была выточена и собрана кровь, то из каких ранений было удобнее собрать ее?..» Двадцать третьего декабря эксперты дали ответ:

Так как наиболее сильное кровотечение было из левой височной области... из раны на темени... а также из ранений из правой стороны шеи... надо полагать, что именно из этих ранений можно было удобнее всего собирать кровь, если из тела Ющинского кровь действительно была собираема.

Это был весьма приблизительный ответ, но для обвинения и такой ответ годился.

Год завершился событием, которому суждено было изменить ход дела. Тридцать первого декабря 1911 года Красовского внезапно уволили с должности в полиции Ходоркова — якобы за превышение полномочий. В вину ему вменялся тот факт, что несколькими годами ранее он без достаточных оснований задержал крестьянина по фамилии Ковбаса. Враги Красовского не удовлетворились тем, что сыщик спокойно вернулся к прежней жизни; чиновники, продвигавшие «ритуальную» версию, задались целью лишить его средств к существованию и доброго имени. Акты мести следовали один за другим, но, что касается данной меры, она привела к противоположным результатам. Первоначально у Красовского не было намерения снова вмешиваться в это тягостное дело, но теперь он почувствовал себя обязанным возобновить расследование: вернуться в Киев и восстановить свою честь, назвав имена убийц Андрея Ющинского.

■ «Кто силен?»

Четвертого января 1912 года, когда шла седьмая неделя одиночного заключения Бейлиса, надзиратель открыл дверь его камеры и велел ему собираться. Его хотел видеть следователь, и на встречу со следователем Бейлиса должны были отвезти в здание суда.

В Киеве стояли суровые морозы. Идя по улицам в рваных башмаках с дырявыми подметками, Бейлис обморозил ступни, и так уже покрывшиеся язвами. В кабинет Фененко он вошел хромя, чтобы узнать, что следствие почти завершено. Бейлис был преисполнен надежды. Он понимал, что менее всех подходит для обвинения в «ритуальном» убийстве. Во время краткого допроса он так объяснил это Фененко: «Я совершенно нерелигиозный еврей и по субботам всегда работаю. В синагогу не хожу и только один раз в году на судный день я бываю в синагоге». Когда его повели обратно, как он позднее вспоминал, в свою камеру он вернулся «с обмороженными ногами... и радостью в сердце».

Фененко, однако, был возмущен ходом событий. Завершив все формальности и в последний раз допросив Бейлиса, 5 января 1912 года Фененко подписал последнюю страницу в пачке бумаг со свидетельскими показаниями и отчетами и отослал документы прокурору. Ни один здравомыслящий и честный прокурор не предъявил бы человеку обвинения на основании подобных материалов, но Фененко уже понимал, что проиграл борьбу с приверженцами «ритуальной» версии, и у него не оставалось иного выбора, кроме как позволить машине уголовного правосудия запустить в действие следующий механизм.

Десятого января Марголину сообщили, что его клиенту вскоре предъявят официальное обвинение в убийстве Андрея Ющинского. Марголин считал, что защита должна сделать все

возможное, чтобы опровергнуть доводы обвинителей и даже предотвратить составление обвинительного акта. Но лидеры киевской еврейской общины не желали предпринимать иных действий, кроме издания научных трактатов, оспаривавших утверждения о ритуальных убийствах у евреев. Марголина их бездействие удручало; он презирал этих робких людей, которые так боятся обвинений во «вмешательстве» и «подстрекательстве», что и пальцем не пошевелят, чтобы прекратить дело, угрожавшее всем евреям Российской империи.

Но что мог предпринять сам Марголин? Молодой поверенный прибег к единственному имевшемуся у него средству — помощи своего неуклюжего друга-журналиста Степана Бразуль-Брушковского. Марголин предложил Бразулю пойти в полицию и изложить свою версию, основанную на рассказах Веры Чеберяк, то есть ту, где в качестве подозреваемых в убийстве Андрея фигурировали ее бывший любовник слепой Мифле и другие. Марголин был уверен, что Бразуль заблуждается. В отличие от Бразуля, он видел в Чеберяк не просто источник информации, но непосредственную участницу преступления. Однако он полагал, что, побудив Бразуля к действию, привлечет внимание к Чеберяк, а там кто-нибудь переполошится, возникнет неувязка, и настоящие убийцы сами себя выдадут.

Восемнадцатого января Бразуль принес следователю Фененко заверенное им письменное показание Веры Чеберяк и поместил в газетах заметку о ее заявлении о том, что убийство совершила воровская шайка, куда входили Мифле, отчим Андрея, его дядя и другие, и что от него избавились, опасаясь, что мальчик станет болтать о совершенных ими преступлениях. Версия Бразуля казалась абсурдной всем, кроме него самого, и никак не помогла затормозить процесс возбуждения дела против Бейлиса. И все же своеобразный эффект этот

холостой выстрел дал: он всколыхнул материнский гнев. Когда Мария Мифле услышала, что женщина, изувечившая ее сына, посмела обвинить его в убийстве ребенка, она твердо решила отомстить. Мария располагала сведениями, грозившими отправить Веру Чеберяк за решетку, и теперь намеревалась ими поделиться с полицией.

Павел, сын Марии, не так давно посвятил мать в одну тайну. Когда бывшая любовница сопровождала его во французское консульство, где ему должны были назначить пособие по инвалидности, он заметил, что она выбрала кружную дорогу. Он спросил, почему, и Чеберяк призналась, что в прошлом году в марте ее арестовали за продажу магазину краденых часов с цепочкой. Ей с трудом удалось бежать из полицейского участка, назвав вымышленное имя. Опасаясь, как бы ее не узнали, Чеберяк старательно обходила магазин стороной. Через три дня после публикации версии Бразуля Мария Мифле отправилась в полицию. Двадцать пятого января Чеберяк арестовали, вызвав госпожу Гусину, владелицу часового магазина, узнавшую в ней ту самую «жену полковника Иванова», которая продала ей краденые вещи. Несколькими неделями ранее Чеберяк обвинили в еще одном преступлении — обмане местного бакалейщика. Впервые с тех пор, как шесть лет тому назад она выжгла серной кислотой глаза Павлу Мифле, Вере Чеберяк всерьез светило тюремное заключение.

Марголин был доволен. Как он и надеялся, история Бразуля заставила полицию вновь заняться Чеберяк. А это, как он полагал, только к лучшему.

Тридцатого января Бейлису в зале суда вручили копию обвинительного акта. Он был счастлив бросить взгляд на присутствовавших при этом жену и детей, которых не видел уже полгода, и, хотя ему не разрешили с ними поговорить, помахал им рукой.

Суд назначил дату разбирательства — 17 мая. Ждать оставалось еще долго, теперь Бейлис мог осмысленно считать дни. А главное — Марголин добился для него еженедельных свиданий с родными.

Когда Бейлису предъявили официальное обвинение, его адвокаты наконец смогли действовать от его имени, подавая прошения, ходатайства и списки свидетелей защиты. Марголин навестил Бейлиса в тюрьме и заверил, что все знают о его невиновности, а обвинительный акт только подкрепляет эту уверенность. Обвинительный акт и в самом деле получился жалким и неубедительным, местами даже комичным в своей непосредственности («[Свидетельница] Ульяна Шаховская в пьяном виде рассказала...»). В него вошли и показания Василия Чеберяка с историей о том, как однажды приказчик Бейлис якобы прогнал Женю и Андрея с территории зайцевского кирпичного завода. И рассказ осведомителя Козаченко о том, как подсудимый предлагал ему некое вознаграждение от лица еврейской нации, если он отравит Лягушку и фонарщика. Сделанное Козаченко признание, что он все выдумал, естественно, было проигнорировано.

Самым примечательным в обвинительном акте было то, что там вообще не говорилось о ритуальном убийстве, хотя содержалось утверждение профессора Сикорского, что убийство сопровождалось «медленным обескровлением» и «источением крови», которые и объявлялись «целью» преступления. Более того, в обвинительном акте безо всякого повода упоминалось, что Бейлис прежде принимал участие в приготовлении мацы для семьи Зайцевых и что его отец был религиозным хасидом. Было похоже, что обвинение предпочло избегать прямого упоминания ритуального убийства, чтобы присяжные, что называется, читали между строк. В апреле суд даже возражал против заслушивания экспертов по иудаизму на том основании, что обвинение не носит

религиозного характера. Однако всего через несколько месяцев обвинители изменяют свою тактику, вознамерившись полностью воскресить средневековый миф и учинить суд над самой еврейской религией.

Когда Бейлису предъявили официальное обвинение, «студенту Голубеву» оставалось лишь выразить недовольство тем, что кончину отрока-мученика не оплакивают с подобающей торжественностью. Накануне годовщины убийства небольшая — около тридцати человек — группа черносотенцев под внимательным приглядом полицейских собралась у могилы Андрея. Собрание прошло тихо: опасаясь подстрекательства к антиеврейскому насилию, власти запретили произносить речи. Двенадцатого марта в Софийском соборе без происшествий отслужили панихиду по Андрею. Все это чрезвычайно раздражало Голубева. Поминальные службы казались ему формальностью; скорбеть должен был весь город. Услышав, что в тот же вечер одна националистическая организация устраивает бал, Голубев явился туда и принялся громко упрекать танцующие пары за веселье в такой день. Пришлось позвать полицию, и его выпроводили из зала. До того времени, когда обвинению пригодится любительское расследование Голубева и его истерический гнев, он будет оставаться в тени.

Ни один полицейский чиновник любого ранга даже не пытался сделать вид, что всерьез воспринимает Менделя Бейлиса как подозреваемого.

Двадцать восьмого января, за два дня до того, как Бейлис получил на руки обвинительный акт, полковник А. Ф. Шредель, глава Киевского губернского жандармского управления, отправил донесение своему петербургскому начальнику, заместителю директора Департамента полиции. Указывая на несостоятельность причудливой версии Бразуля, Шредель сообщал, что проведенное жандармским управлением

секретное расследование «дает твердое основание предполагать, что убийство мальчика Ющинского произошло при участии... Чеберяковой» и членов ее шайки. В следующем рапорте от 14 февраля с пометой «Лично. Совершенно секретно. В собственные руки» Шредель докладывал, что, несмотря на предъявленное Бейлису официальное обвинение, Киевское жандармское управление продолжает вести розыски, которыми руководит подполковник Иванов и которые по-прежнему «сосредоточены, главным образом, вокруг... жены почтового чиновника Веры Владимировны Чеберяковой и непосредственно связанных с нею уголовных преступников». В качестве подозреваемых в докладе были перечислены семь членов ее шайки. Вскоре Иванов в процессе расследования сократит этот список до трех предполагаемых участников преступления: сводного брата Веры Петра Сингаевского по кличке Плис, Бориса (Борьки) Рудзинского и Ивана Латышева (Ваньки Рыжего). Следствие, по словам Шределя, исходило из предположения, что Андрей «явился невольным свидетелем одного из преступных деяний этой шайки, с которым „из боязни нужно было покончить“». Последняя фраза, взятая в кавычки, вероятно, представляла собой буквальную цитату из свидетельских показаний, приведенных в предшествующем рапорте, к сожалению, утраченном. Мы вряд ли когда-либо узнаем обо всех свидетельствах, которыми располагал подполковник Иванов, но очевидно, что у него почти не оставалось сомнений относительно настоящих убийц.

Шредель резко и с удивительной откровенностью высказался об уликах против еврея, обвиняемого в убийстве Ющинского. «Обвинение Менделя Бейлиса, — писал он, — в убийстве Андрея Ющинского при недостаточности собранных против него улик и всеобщем интересе к этому делу, приобретенному почти европейскую известность, может

повлечь за собой большие неприятности для чинов судебного ведомства и вполне справедливые нарекания на допущенную при производстве следствия поспешность заключений и даже односторонность». Четырнадцатого марта он вновь предупредил, что «имевшиеся против Бейлиса косвенные улики, как ныне выясняется, на судебном следствии совершенно отпадут».

Что касается обвинителей, любопытный эпизод проливает свет на их собственные сомнения в виновности подозреваемого. Среди лидеров черносотенцев, предлагавших обвинению свои услуги, был некто Григорий Опанасенко. Обвинение всерьез прислушивалось к его мнению. Двадцать девятого апреля Опанасенко предстал перед членом прокурорской команды А. А. Карбовским и известил его о зловещей молве: «К преступникам является тень Ющинского и требует от них свою одежду. Они не спят по ночам и готовы во всем сознаться». Карбовский, по-видимому, совершенно серьезно задался целью выяснить, правда ли это. Станным образом выдав собственный взгляд на дело, он, похоже, расспросил об этом видении всех, кроме Менделя Бейлиса. Карбовский отправился в тюрьму, где в то время содержались за кражу двое членов шайки Веры Чеберяк. На странный вопрос прокурора оба заключенных ответили отрицательно. Иван Латышев (Ванька Рыжий) со всей определенностью заявил: «Тревожных снов я не вижу, никакими галлюцинациями не страдаю».

Приближалось 17 мая, 7 апреля был утвержден предварительный состав коллегии присяжных. Когда через несколько дней Бейлиса вызвали в тюремную контору для встречи с Марголиным, у него не было причин ждать дурных вестей: тот неизменно подбадривал его. Однако на этот раз Марголин его обескуражил: суд отложили, не назначив новой даты. «Мне будто выстрелили в голову, — вспоминал

Бейлис. — Я думал, что сойду с ума». Он считал дни и часы — и вот время остановилось.

Марголин объяснил, что заболел эксперт, без которого нельзя начать суд, однако точной даты не назначено, а потому заключенный вновь лишился права видеться с семьей.

Бейлис снова остался в полном одиночестве. Его впервые посетила мысль о самоубийстве. «Уж лучше смерть, чем такая жизнь», — думал он. Сидя в тюремной камере, Бейлис вспомнил давно забытые молитвы, находя в них утешение.

Я вспомнил стих: «Кто силен? Тот, кто обуздывает свои страсти». И, когда у меня снова возникала страшная мысль о самоубийстве, этот стих стоял у меня перед глазами. «Надо быть сильным, — подумал я, — надо обуздать свои страсти и жить».

Он решил жить, чтобы увидеть день, когда откроется истина. А тем временем его дело получило уже международную известность, он словно в самом деле стал «вторым Дрейфусом».

На Западе об убийстве Андрея Ющинского первым сообщило новостное агентство *Reuters*. В конце апреля 1911 года агентство без редакционного комментария телеграфировало своим подписчикам перевод сенсационной статьи об этом деле из российской праворадикальной прессы. (В статье говорилось, в частности, что, если в далеком прошлом хасиды распинали свою жертву, теперь они довольствуются тем, что загоняют ей гвозди в различные части тела.) Доверчивые редакторы перепечатали статью в пяти-шести провинциальных британских газетах; она легла в основу нескольких заметок в американской прессе. Лондонская *Jewish Chronicle* («Еврейская хроника») выразила негодование, что «агентство такого ранга и такой репутации, как *Reuters*, способствует распространению отвратительной клеветы». Доктор Герберт

Фриденвальд, секретарь Американского еврейского комитета, обвинил российское правительство в том, что оно пользуется заведомо лживым обвинением в ритуальном убийстве «как предлогом для погрома» или даже приводит в исполнение еще более коварный план, разжигая ненависть среди русского населения, чтобы показать, что власти способны предотвратить погром, если им вздумается. (Эти рассуждения не соответствовали действительности: даже на ранней стадии дела власти стремились не допустить насилия по отношению к евреям.) Фриденвальд заявил, что это дело — лишняя причина поддержать инициированную комитетом кампанию за аннулирование торгового договора между Америкой и Россией.

Когда новость об обвинении против Менделя Бейлиса просочилась на Запад, всемирное протестное движение в его защиту зародилось не в Соединенных Штатах и не в Великобритании, а в Германии. Франция и Великобритания были союзницами России по Антанте, цель которой заключалась в том, чтобы противостоять усилению Германии. Французский и британский министры иностранных дел старались без необходимости не касаться болезненных для российского правительства тем. Как французское, так и британское общество было настроено против режима кайзера; критик, без особого повода порицающий российские порядки, рисковал навлечь на себя обвинение в подрыве Антанты и прогерманских настроениях. Именно поэтому Уильям Томас Стед, один из лучших британских журналистов того времени, осудил антироссийских активистов-евреев.

Меня никто не может обвинить в антисемитизме, — написал он в одной из своих последних статей незадолго до того, как в апреле 1912 года взшел на борт «Титаника», чтобы отправиться в путешествие, в котором ему суждено было стать одной из 1514

жертв, — слишком многим я обязан авторам Ветхого и Нового Завета. Тем более я чувствую, что должен предупредить моих друзей: если они будут продолжать подчинять интересы всеобщего мира собственным импульсам мщения по отношению к России, такое их стремление может оказаться очень опасным.

Лидеры еврейских общин в Западной Европе, во многом как и их соплеменники в России, сталкивались с необходимостью принимать деликатные, требовавшие большой осторожности решения, когда вставал вопрос о защите единоверцев. К счастью, у западноевропейских евреев было два выдающихся лидера — один из Германии, другой из Британии, — прекрасно разбиравшихся в дипломатии и в способах воздействия на прессу и общественное мнение. Доктор Пауль Натан, филантроп, возглавлял Общество помощи немецким евреям. Люсьен Вольф был председателем объединенного иностранного комитета Лиги британских евреев и Англо-еврейского общества. Кроме того, он выполнял обязанности дипломатического корреспондента ведущих британских газет и был редактором *Darkest Russia* («Темной России»), еженедельной хроники о тяжелом положении русских евреев. Натана и Вольфа, которых связывала тесная дружба, иногда называли «министрами иностранных дел» немецких и британских евреев.

Общественная кампания в защиту Бейлиса развернулась после предъявления ему официального обвинения весной 1912 года. Первый шаг предпринял Натан, организовав публикацию первого открытого письма, осуждающего «позорную ложь» кровавого навета. Под письмом, напечатанным 19 марта 1912 года, стояли подписи ведущих немецких, австрийских и датских религиозных деятелей, ученых, политиков и писателей, в том числе Герхарта

Гауптмана, которому как раз предстояло получить Нобелевскую премию по литературе, и романиста Томаса Манна. Через десять дней во Франции вышло следующее открытое письмо с порицанием «абсурдного» и «клеветнического» обвинения против Бейлиса и за подписью ста пятидесяти видных деятелей, включая будущего лауреата Нобелевской премии по литературе Анатоля Франса. Тексты обоих писем были составлены с дипломатической точки зрения безупречно: авторы немецкой версии обращались к человечеству в целом, призывая к действиям во имя цивилизации, а французская версия была написана в интонациях коллег, дающих совет союзнику, которого они высоко ценят, и предусмотрительно называющих себя «друзьями России».

Открытое письмо, опубликованное на страницах лондонской *Times*, подписали почти двести сорок знаменитостей. В их числе были архиепископы Кентерберийский и Йоркский, примас Ирландии, спикеры палаты общин и ведущие члены парламента, в том числе лидер Лейбористской партии Джеймс Макдональд, многочисленные профессора Оксфордского и Кембриджского университетов и известные писатели, такие как Томас Харди, Герберт Уэллс, Бернард Шоу, Артур Конан Дойл.

Хотя подписавшиеся под письмом заявили, что ими «движут самые искренние дружеские чувства по отношению к России», эти слова не смягчили реакцию российского правительства. Десятого мая 1912 года Барон Гейкинг, российский генеральный консул в Лондоне, с негодованием отозвался на опубликованное в *The Times* письмо. «Обвинение в ритуальном убийстве вовсе не направлено против иудаизма и еврейского народа в целом, — писал Гейкинг, — а только против обвиняемого, принадлежащего, как полагает следствие, к малочисленной тайной секте, доводящей учение Талмуда до крайности ритуального убийства». Он настойчиво

подчеркнул: «Не следует смешивать тайную секту с евреями в целом». Но, защищая честь своего государства, барон невольно раскрыл карты. Он, очевидно, не знал, что на данном этапе подозреваемого формально не обвиняли в ритуальном убийстве; напротив, отказываясь от свидетельств экспертов по иудаизму как не относящихся к делу, суд показал, что придерживается иной точки зрения.

«...Процесс несомненно окончится оправданием обвиняемого за невозможностью фактически доказать его виновность в совершении приписываемого ему преступления», — писал 19 апреля киевский губернатор А. Ф. Гирс в Министерство внутренних дел. Однако снять с подозреваемого обвинение он не предлагал. Его беспокоили сроки судебного разбирательства. Выборы в Думу были намечены на осень. При любом решении суда он опасался беспорядков, расправы, погромов и советовал отложить суд до завершения выборов. Министр юстиции Щегловитов принял его предложение.

В итоге суд начался лишь осенью следующего года. Отсрочка изменила характер дела, обеспечив всем участникам запас времени. У обвинения появилось время, чтобы сфабриковать новые улики. У Веры Чеберяк — чтобы плести интриги. А у Марголина и Бразуля, к которым теперь присоединился и Красовский, — время перейти в наступление.

В марте 1912 года Красовский вернулся в Киев. Предшествующей осенью он со смешанным чувством горечи и облегчения умыл руки, оставив это дело. Но когда его уволили с должности станового пристава в провинциальном городе, он для себя решил, что его судьба, как и судьба Бейлиса, зависела от разоблачения истинных убийц Андрея Ющинского.

Красовский с самого начала считал, что за неимением вещественных доказательств единственный способ раскрыть преступление — выудить у кого-то признание. Но как этого добиться? Он больше не был полицейским, не мог арестовать подозреваемого, привлечь его к делу и допрашивать в надежде, что тот проговорится. Ему оставалось лишь хитростью заставить одного или нескольких преступников сознаться.

После того как его официально назначили адвокатом Бейлиса, Марголин действовал более осмотрительно, чем раньше, держась на расстоянии от расследования. При скрытой поддержке Марголина Красовский и Бразуль начали совместную работу, что, правда, давалось им нелегко. У сыщика оставались сомнения по поводу журналиста. При встрече Красовский в пух и прах разнес Бразуля за то, что тот, не посоветовавшись, оповестил всех о своей несообразной теории, обвинив в преступлении слепого Мифле. (На самом деле Красовский забыл, что несколько месяцев тому назад отмахнулся от Бразуля, когда журналист предложил ему сотрудничать.) Теперь Бразуль наконец сам понял, что Вера Чеберяк не просто располагает ценными сведениями об убийстве, а сама к нему причастна.

В течение следующих недель Красовский выработал план, который на первый взгляд кажется нелепым: проникнуть в шайку с помощью русских революционеров-подпольщиков, которых рассчитывал склонить на свою сторону. Осетин Амзор Караев двадцати пяти лет, дворянин по происхождению, был анархо-коммунистом. Его четырежды приговаривали к тюремному заключению, в том числе за хранение взрывчатых веществ. Его товарищ по революционному подполью двадцатиоднолетний Сергей Махалин был подающим надежды оперным певцом, которого выгнали из земледельческого училища и трижды арестовывали за

политические преступления, в том числе за «экспроприацию», то есть ограбление, когда ему было всего шестнадцать. Он не принадлежал ни к какой партии и не придерживался никакой идеологии, но страстно ненавидел режим и стремился просвещать народные массы.

Хотя план Красовского был дерзким и немного абсурдным, в нем имелись свой резон и здравый смысл. Русское революционное подполье и преступный мир во многом пересекались. Граница между ними была столь размытой, что трудно было порой отличить революционеров от криминальных элементов. Современники называли это явление «изнанкой революции». Один анархистский лидер сетовал: «Бомбометатели-экспроприаторы... ничем не лучше, чем бандиты из южной Италии». Разумеется, за революционным движением стояло немало интеллигентов, в том числе таких, как будущие лидеры большевистской революции В. И. Ленин и Л. Д. Троцкий. Интеллигенция сотрудничала с сомнительными личностями, выполнявшими большую часть грязной работы: это они совершали вооруженные грабежи, за счет которых финансировалось революционное движение. В это же самое время будущий советский вождь Иосиф Сталин действовал главным образом как вооруженный бандит-революционер, организуя в родной Грузии ограбления банков, в которых лично принимал участие. Караев, как и Сталин, был родом с Кавказа, где революционные ячейки привыкли действовать как типичные бандитские шайки.

Для целей Красовского подходил не любой революционер. Ему нужен был человек, пользующийся авторитетом в криминальном мире, и в то же время такой, чтобы публика, а желательны и присяжные, восприняли его всерьез. Весной 1912 года решить подобную задачу было непросто; революционеры утратили репутацию борцов за справедливость. Всего несколько лет назад, в 1905 или 1906

году, человека, бросившего бомбу или обокравшего государство, окружал романтический ореол. Убийства царских чиновников, происходившие с осени 1905 года по осень 1906 года в среднем по десять в день, вызывали если не одобрение, то сочувствие либералов. Но к 1912 году иллюзии рассеялись. Власть собралась с силами и ударила по революционерам. Разоблачения видных революционеров, втайне работавших полицейскими осведомителями, запятнало их в глазах общества. Недавнее убийство Столыпина поразило своей бессмысленной жестокостью даже ненавидевших его либералов.

В лице Амзора Караева Красовский и Марголин рассчитывали обрести человека, сохранившего обаяние революционера-изгоя. В самом деле, другие заключенные преклонялись перед Караевым за смелость и дерзость, с какими он держался перед тюремным начальством. Особенно громкую известность ему принес один необычный случай. Как-то несколькими годами раньше он пожаловался тюремному надзирателю на зубную боль и попросил позвать врача. Надзиратель ответил ему насмешками и отказал в просьбе. В знак протеста Караев выплеснул на пол содержимое керосиновой лампы. За эту выходку его осудили как за попытку побега. Когда Караев снова увидел этого надзирателя, он его зарезал. Караева за это судили, но присяжные его оправдали, и он вернулся в тюрьму как герой. Как присяжные пришли к такому решению, нам неизвестно, но примерно до 1907 года значительная часть русского общества — и даже немалая доля чиновников — относилась к революционерам сочувственно, и либеральным адвокатам часто удавалось добивать относительно мягких, если не вовсе оправдательных приговоров. Такой человек, как Караев, с его репутацией никого не боящегося революционера и нарушителя закона, мог внушить доверие сообщникам Веры

Чеберяк. Оставалось только придумать, как убедить его приехать в Киев и помочь осуществить намеченный план.

Бразуль обратился к Махалину, приятелю Караева, который сидел с ним в тюрьме, и изложил ему свой план. У Махалина, как и у Красовского, имелись сомнения относительно Бразуля, которого он считал человеком «легкомысленным», но план ему понравился. Махалин отправил Караеву в Осетию зашифрованное письмо, предложив приехать в Киев на важный разговор. Караев согласился.

Когда Махалин признался Караеву, зачем его вызвал, тот сначала пришел в бешенство. Он был оскорблен, сочтя, что ему предлагают нарушить криминальный кодекс чести. Выхватив браунинг, он начал размахивать им — жест, к которому имел обыкновение прибегать по поводу и без. Но в конце концов Караев отложил пистолет и выслушал Махалина, который объяснил Караеву, что, по его мнению, дело Бейлиса «вносит злобу в темные массы». Махалин понимал, какой силы ненависть кроется за этим делом; позднее он рассказал, что в детстве был свидетелем еврейского погрома — впечатление от увиденного способствовало тому, что он примкнул к революционерам. Махалин взывал к совести Караева, и слова товарища показались тому убедительными, тем более что Караев питал презрение к любой дискриминации по расовому или религиозному признаку. По здравом размышлении Караев согласился участвовать в осуществлении плана Красовского, чтобы доказать невиновность бедного приказчика-еврея.

Впоследствии Караев, Махалин и Красовский дали показания относительно того, как именно претворяли в жизнь задуманное, и в их свидетельствах не обнаружится расхождений в существенных деталях. Расхождения же с

показаниями сводного брата Веры Чеберяк Петра Сингаевского были лишь в деталях, указывавших на его виновность.

Сингаевский должен был стать центральной фигурой намеченного плана, потому что из тех, кого подозревали в убийстве, только он — не считая самой Чеберяк — в тот момент не сидел в тюрьме. Для того чтобы втереться в доверие к Сингаевскому, Караев пустил в ход свои обширные криминальные связи. Оказалось, что у них был общий знакомый, которому Сингаевский доверял: Ленка по кличке Фердидудель, парикмахер. Девятнадцатого апреля Фердидудель подошел к Сингаевскому в пивной и сообщил, что известный бунтарь Караев желает с ним познакомиться. Второразрядный жулик был, вероятно, польщен интересом Караева, и за те несколько дней, что Караев водил его по трактирам, где они ели, а главное — пили, у Сингаевского развязался язык. В качестве предлога для встреч Караев придумал, что ищет «надежных парней» для крупной кражи и «мокрого дела» — убийства десяти человек, сулящего сорок тысяч рублей добычи. Сингаевский заинтересовался и посетовал, что его хорошие товарищи Ванька Рыжий (Латышев) и Борька (Рудзинский) сидят в тюрьме по обвинению в краже. Мимоходом он упомянул, что им «шьют» убийство мальчика Ющинского.

Правда, сам Сингаевский продолжал вести себя так, словно ничего об убийстве Андрея не знал. Он очень туго соображал, отличаясь при этом обескураживающей осмотрительностью. Через четыре дня Караев рассказал Красовскому и Бразулю, как движется дело. Чтобы вынудить Сингаевского сознаться в убийстве, они придумали хитрую уловку. Днем 24 апреля он отправился с Сингаевским в ресторан «Версаль», воровской притон, и сообщил плохую новость: от «своего человека» в жандармском управлении он слышал, что

Сингаевского и Веру Чеберяк собираются обвинить в убийстве Ющинского. Уже готовы ордера на арест, пояснил Караев.

Сингаевский запаниковал и заговорил. Первым делом он сказал, что надо «порешить» двух «шмар», которые кое-что видели. Под «шмарами» Сингаевский подразумевал сестер Екатерину и Ксению Дьяконовых, подруг Веры Чеберяк. Тем временем Красовский уже сам вышел на них и попытался завоевать их доверие. Выдавая себя за «москвича», Красовский почти каждый день водил их по ресторанам и театрам. Сначала они говорили о чем угодно, кроме дела Бейлиса. Наконец, когда сестры почувствовали себя достаточно свободно, чтобы поделиться с ним тем, что им известно, Екатерина рассказала, что приходила к Чеберяк в день исчезновения Андрея — не то утром, не то в первой половине дня. Когда Чеберяк открыла дверь, Екатерина увидела, как Сингаевский и Рудзинский кинулись из одной комнаты в другую, а Ванька Рыжий прикрыл пальто что-то, лежавшее в углу. Сестры открыли еще одну важную деталь. Они рассказали, что у Чеберяк часто играли в почту — писали друг другу короткие записки. Для игры использовались листки бумаги, похожие на те, что нашли рядом с телом Андрея.

На случай, если Сингаевский сознается, Караеву нужен был еще один свидетель, и они встретились с Махалиным, которого Караев представил как своего надежного сообщника. Сингаевский переходил от одного отчаянного плана к другому. Предлагал убить Дьяконовых, подполковника Иванова и надзирателя Кириченко или ворваться в жандармское управление и выкрасть все бумаги по делу. Караев тем временем пояснил Махалину: «Вот настоящий убийца Ющинского». Сингаевский отозвался: «Да, это наше дело». По его словам, через этого «байструка провалились такие хорошие малины».

Удалось им и выведать подробности.

«Схватили мы его и потащили к сестре на квартиру», — сказал Сингаевский.

«Кто же это — мы?» — переспросил Махалин.

«Я, да Борька, да Ванька Рыжий», — пояснил тот, добавив, что Ванька, хоть и хороший парень, для мокрого дела не годится: после убийства его вырвало.

Почему же, спросил Караев, сработано так нечисто? Почему не избавились от тела?

Сингаевский сослался на Рудзинского и заметил, что не следовало оставлять труп так близко от дома сестры, надо было утопить его в Днепре или уложить в корзину и выбросить где-то по пути в Москву, куда они бежали после преступления.

Предприятие получилось чрезвычайно успешным. Марголин и члены комитета для защиты Бейлиса решили, что Бразуль должен отнести письменное заявление подполковнику Иванову. В заявлении, помимо прочего, Бразуль должен был отметить, что таинственные послания за подписью «Христианин», обвинявшие в убийстве евреев и отправленные матери Андрея и прозектору, были написаны под диктовку Веры Чеберяк и что почерк в них совпадает с почерком одного из членов ее шайки. Шестого мая заявление было передано в руки Иванову. Тридцатого мая результаты расследования Бразуля были опубликованы в киевских газетах, а затем перепечатаны в газетах по всей империи. «Заявление Бразуля», как его называли, повергло обвинение в полную растерянность.

Защита потребовала отозвать обвинительный акт и вернуть дело на следствие. Чаплинский поначалу яростно сопротивлялся. Написанные им в мае письма свидетельствуют о его безудержном гневе: разваливалось дело, которым он думал обеспечить себе славу, ускользал от него высокий пост в столице. Чаплинский сетовал, что отказ

возвратить дело для доследования в виду появления новых улик «вызовет шум в жидовской прессе». И вынужден был признать, что недовольны его действиями не только евреи. «...Многие влиятельные лица, — заметил Чаплинский в письме министру юстиции, — в настоящее время совершенно изменили свой взгляд на этот процесс и неблагоприятно относятся к постановке на суд дела о ритуальном убийстве...»

Двадцать третьего мая подполковник Иванов попросил у Чаплинского согласия на заключение под стражу Веры Черებряк, но тот его просьбу отклонил, о чем сообщил министру юстиции. «Беда с этим делом: натиск ведется всюю», — жаловался прокурор на тех, кто убеждал его прекратить дело против Бейлиса, и вызывающе заключил: «Я, конечно, не поддаюсь на эту удочку и гоню своих доброжелателей вон».

Восьмого июня министр вызвал Чаплинского в Петербург, чтобы обсудить с ним, как быть с делом Бейлиса, принявшим столь нежелательный оборот. В результате они решили, что отсрочка им только на руку: они готовы были начать расследование с чистого листа в надежде придать обвинению против подозреваемого бóльшую убедительность.

Вернувшись в Киев, Чаплинский объявил, что согласен отправить дело на доследование. Девятнадцатого июня Киевская судебная палата удовлетворила его просьбу. Дело снова оказалось почти в той же точке, что и одиннадцать месяцев назад. Правда, суд отклонил ходатайство защиты об освобождении Бейлиса под подписку о невыезде, он снова стал ограниченным в правах заключенным без определенного статуса.

Чаплинский отстранил от дела следователя Фененко, своим особым мнением доставлявшего ему много хлопот, и назначил нового, покладистого следователя, который был рад

раздуть дело против подозреваемого-еврея. Прокурора ободряли и два обстоятельства, о которых было неизвестно защите: во-первых, Вера Чеберяк придумала новый много-обещающий план, способный поставить под сомнение честность защитников и указать на виновность Менделя Бейлиса; во-вторых, хваленое «независимое расследование» Бразуля сулило не меньше неприятных неожиданностей, чем бомба анархиста: Караев и Махалин, свидетели, которым так верила защита, были не теми, кем хотели казаться, так как, помимо революционной, они занимались и другой деятельностью: оба были осведомителями.

Осенью предшествующего года товарищи-анархисты заподозрили в этом Караева, но Махалин, которого еще не разоблачили, организовал внутреннее расследование, частично рассеявшее их подозрения. На самом деле к тому моменту, когда Караева разоблачили, он уже не работал на охранное отделение, где ему платили очень приличное жалование — сто рублей в месяц: в справке Департамента полиции говорилось, что «некоторые из его сведений носили весьма серьезный характер, но при проверке выяснилось, что сведения эти являлись результатом его провокационной деятельности и склонности к шантажу». Караев заманивал в ловушку товарищей, подталкивая их к преступлениям, и тут же доносил о них тайной полиции.

Таким образом, обвинение располагало информацией, способной подорвать доверие к двум главным свидетелям защиты.

Может быть, Чаплинский и хотел бы обойтись без помощи известной на всю Лукьяновку преступницы, но она была ему нужна. В ответ на отчет Бразуля А. А. Карбовский, главный помощник Чаплинского, устроил повторный допрос свидетелей. Четырнадцатого мая он допросил Чеберяк. Ни на

одном из семи предыдущих допросов, проведенных следователем Фененко, она не упоминала Бейлиса и ни разу не говорила о том, что Женя с Андреем ходили на завод Зайцева. В декабре ее муж Василий «внезапно вспомнил», как Женя рассказывал ему, что Бейлис якобы прогнал их с Андреем с территории завода, но в его показаниях не содержалось прямого обвинения. И вот теперь, когда со дня смерти Андрея прошло четырнадцать месяцев, Вера неожиданно припомнила, что ее сын прямо говорил о причастности Бейлиса к убийству: 12 марта 1911 года он якобы погнался за мальчиками, которые играли на территории завода Зайцева, и Женя убежал, а Андриюшу Бейлис схватил и потащил к печке.

Адвокат А. С. Тагер, проанализировав три версии новых показаний Чеберяк, отметил существенные расхождения между ними и предположил, что обвинение помогло ей сочинить свой рассказ: огласке предали только окончательную версию.

Тридцатого мая Вера Чеберяк рассказала, что в декабре прошлого года журналист Бразуль возил ее в Харьков к какому-то господину для странного разговора о деле Ющинского. Неизвестного господина она описала так: «Еврей, очень полный, лысоватый, глаза навывкат, несколько шепелявит». Очень быстро стало понятно, что речь шла об адвокате Марголине. По версии Чеберяк, во время встречи ей якобы предложили сорок тысяч рублей, если она сознается в убийстве Ющинского, и побег из страны, а в случае, если все же придется предстать перед судом, — что в ее распоряжении будут лучшие адвокаты империи. Заявление Чеберяк вынудило Марголина не только признать факт встречи с ней, но и отказаться выступать в качестве адвоката Бейлиса под угрозой лишиться права на адвокатскую деятельность. Безрассудство коллеги привело Грузенберга в ярость. Для защиты это была катастрофа.

Следующей мишенью оказался Бразуль. В начале июля Вера Чеберяк отомстила журналисту, подав на него в суд за то, что он якобы запятнал ее репутацию. Она подала иски по обвинению в клевете и против редакторов нескольких газет, напечатавших обвинения против нее. Учитывая необходимый для подачи исков объем документов и скорость, с какой они были составлены, трудно поверить, что Чеберяк справилась с этим самостоятельно.

После этого прокурор и его начальство постарались обезвредить Красовского. Красовский больше не состоял на службе, но он оставался на свободе и был опасен. Публика по-прежнему видела в нем успешного детектива, раскрывшего множество загадочных преступлений, а теперь и либеральная, и просвещенная консервативная пресса восхваляли его за установление истинных убийц Андрея Ющинского. Это было уже слишком. Семнадцатого июля к Красовскому явились полицейские и огласили перечень выдвинутых против него обвинений. Красовского привлекли к ответственности за неправомерный арест крестьянина Ковбасы — проступок, за который его уже уволили из полиции; обвинили в уничтожении официальных документов, касавшихся его отчета о не уплаченном в 1903 году неким гражданином налога в сумме шестнадцать копеек. (Красовский обвинялся в том, что присвоил эти деньги.) Наконец, он оказался под следствием за кражу во время какого-то обыска выигрышного лотерейного билета.

Когда Красовский оказался в тюрьме, его помощники поняли, что им тоже грозит опасность. Сергею Махалину хватило здравого смысла уехать из города. Амзор Караев, не привыкший отступать, опрометчиво остался в Киеве, и 13 августа полиция арестовала и его, под каким именно предлогом — неизвестно.

К концу лета обвинение пополнило свои аргументы еще одним обстоятельством: объявилась живая «свидетельница преступления» — девятилетняя Людмила Чеберяк. Почти год назад Вера Чеберяк умоляла умирающего сына Женю снять с нее обвинение в убийстве Андрея, но мальчик не оправдал ее надежд, своими последними словами только еще больше возбудив подозрения. Теперь мать решила принести в жертву обвинению последнего выжившего ребенка, чтобы оправдать себя, переложив вину на другого.

Вера Чеберяк, вероятно, отдавала себе отчет в том, что на основании одних ее показаний Бейлиса вряд ли осудят. У нее была дурная репутация. Люди узнавали ее по фотографии в газете и задевали на улице. Как-то в середине июля 1912 года прохожий указал на нее пальцем, началась перебранка, и вскоре целая толпа погналась за Чеберяк, крича ей вслед: «Убийца Ющинского!» Ей пришлось шмыгнуть во двор и переждать, пока толпа разойдется.

Людмила вполне могла сыграть архетипическую роль бесхитростной свидетельницы. Обвинение несказанно выигрывает от показаний невинной девочки, готовой указать пальчиком на страшного еврея на скамье подсудимых, убившего ее юного друга.

Четырнадцатого мая 1912 года Людмилу допросили отдельно от матери. В ее показаниях, утаенных от защиты, не содержалось ничего, что бросало бы подозрение на Бейлиса. Однако когда три месяца спустя, 13 августа, ее допросил новый следователь Николай Машкевич, Людмила внезапно рассказала историю, о которой обвинение могло только мечтать. Теперь она утверждала, что 12 марта 1911 года, в день, когда Андрей пропал, она вместе с Женей, Андреем и другими ребятами ходила на завод Зайцева кататься на «мяле». Бейлис и еще два еврея погнались за детьми. По свидетельству Люды, Бейлис «Женю и Андрюшу поймал», но

«Женя вывернулся и убежал домой», а Бейлис якобы потянул Андриюшу за руку «по направлению к нижней печке».

Итак, улики против Бейлиса были собраны. Бейлису придется оставаться сильным, сохраняя терпение и мужество намного дольше, чем полагали его адвокаты. Если каждый прожитый в тюрьме день он воспринимал как победу, то побед ему предстояло много. Ему придется ждать еще больше года, прежде чем он сможет предстать перед судом и заявить судье, присяжным и миру: «Я невиновен».

■ «Хуже и страшнее всего»

Бейлис этого не знал, но к концу зимы 1913 года дело шло к суду. Следователь Машкевич почти завершил работу, по результатам которой Бейлису вновь должны были предъявить обвинение в убийстве Андрея Ющинского. Конец зимы и начало весны 1913 года оказались насыщены и несколькими важными событиями, повлиявшими на судьбу Бейлиса: судебными разбирательствами с участием Николая Красовского и Веры Чеберяк, а также внезапными смертями двух человек, в том числе одного из предполагаемых убийц Андрея.

Красовского выпустили из тюрьмы через шесть недель, после чего его ожидали бесчисленные протоколы и по меньшей мере два суда. Ему было предъявлено целых пять обвинений. (Правда, от обвинения в краже лотерейного билета во время обыска, кажется, отказались.) Пятого февраля суд оправдал Красовского по обвинению в уничтожении официальной корреспонденции, касающейся неуплаты налога в сумме шестнадцать копеек. Жене Красовского удалось отыскать утерянные бумаги в чемодане, который они собрали для отъезда домой из Киева; бумаги были переданы в соответствующие органы, и Красовского оправдали. Оправдали его и по обвинению в незаконном задержании крестьянина Ковбасы, равно как и по трем другим не вполне ясным обвинениям. Более полугода власти старались опорочить Красовского — и потерпели неудачу.

Восьмого февраля принесло защите еще одну хорошую новость. Вере Чеберяк, на которую обвинение возлагало большие надежды как на свидетельницу, вынесли обвинительный вердикт по делу о подлоге, возбужденному против нее местным бакалейщиком, и приговорили к восьми месяцам тюрьмы (впоследствии срок был сокращен до пяти).

Впервые в жизни ее признали виновной в преступлении; знаменитая Чеберячка теперь официально числилась мошенницей. К тому же преступление, в котором ее обвинили, было слишком ничтожным. Ходила молва, что воры из ее притона организовывали грандиозные кражи; по слухам, во время киевского погрома 1905 года Чеберяк чуть ли не топила печь отрезами шелка, украденными из еврейских лавок. Обвинения, в конце концов ее погубившие, выглядели жалко: присяжные признали Чеберяк виновной в том, что она сделала семьдесят шесть исправлений в расчетной книге, затерев цифры и изменив «1 рубль 73 копейки» — на «1 рубль 19 копеек», «2 рубля 13 копеек» — на «13 копеек», «70 копеек» — на «10 копеек» и т. д. С этого мошенничества она получила всего несколько десятков рублей прибыли. Наконец, Чеберяк подверглась еще одному унижению: вскрылось ее истинное происхождение. В процессе разбирательства суд запросил в приходе, где была сделана запись о ее рождении, свидетельство о крещении, где вместо вымышленного отчества «Владимировна» значилось «незаконнорожд.», и присоединил его к протоколу. Теперь Чеберяк была отмечена тем же позорным клеймом, от которого страдал Андрей Юшинский.

Четырнадцатого марта профессор Николай Александрович Оболонский, декан медицинского факультета Киевского университета Святого Владимира, проводивший второе вскрытие, скоропостижно скончался от пневмонии. Профессор с самого начала не вполне удовлетворял обвинение. Он не подтвердил, что убийство Андрея было совершено ради собирания крови. Когда ему задавали наводящие вопросы, он согласился предположить, что могло произойти, если бы убийцы действительно стремились собрать кровь, но дальше этого не пошел. Оболонский был слишком известным врачом, чтобы без уважительной

причины заменить его другим свидетелем; в конце концов, именно его позвали спасти умиравшего Столыпина.

Его смерть была на руку обвинению. Теперь они были вольны найти эксперта, который скажет все, что от него потребуют. Двадцать шестого марта прокурор Чаплинский направил следователя Машкевича к профессору Д. П. Косоротову. Косоротов, доктор медицины, представил заключение всего через два дня. Его вывод гласил: «Повреждения нанесены с намерением получить возможно больше крови для каких-либо целей». В первый раз патологоанатом открыто высказал такое суждение. А. И. Карпинский, киевский судебно-медицинский эксперт, проводивший первое вскрытие, не обнаружил никаких указаний на то, что убийцы пытались собрать кровь. Профессор Оболонский и прозектор Туфанов только допустили возможность подобного мотива. Доктор Косоротов оказал обвинению услугу, восполнив важный пробел в его доводах. Но даже если преступление совершали с намерением получить как можно больше крови, то для чего? Профессор Косоротов отдал дань научному этикету, воздержавшись от рассуждений на этот счет. Объяснять, что стояло за «какими-либо целями», предстояло другим экспертам.

Защита тоже лишилась свидетеля: в ночь на 28 марта 1913 года Ивана Латышева по прозвищу Ванька Рыжий поймали после взлома лавки братьев Горенштейнов на Константиновской улице, откуда он пытался унести шелка на шестьсот рублей. Латышев был известен полиции как профессиональный взломщик и член шайки Веры Чеберяк. По версии Красовского и Бразуля, он был одним из трех убийц Андрея. Когда Латышева отвели в участок, происходящее выглядело как обычный арест. Но когда следователь упомянул, что узнал его по фотографии из газетных статей о деле Ющинского, Латышев перепугался. Он кинулся к окну,

открыл ставни и шагнул наружу, поставив ногу на водосточную трубу. Упал он вниз головой и через несколько часов умер в больнице. Латышев как-то заявил, что его не тревожат кошмарные сны или галлюцинации, связанные с Андреем. Но именно про Латышева говорили, что его рвало после убийства. Не исключено, что его преследовало чувство вины, в чем он, конечно, не сознавался.

Двадцать четвертого мая Бейлису выдали новый обвинительный акт на сорока двух страницах.

Обвинение выдвинуло два тезиса: что еврейские ритуальные убийства — не миф, а реальность и что убийство Андрея Ющинского — чудовищный пример этого дьявольского обычая. Оба утверждения приводились в обвинительном акте со ссылками на двух свидетелей: профессора Сикорского, который в мае 1911 года высказал суждение, что убийству Андрея якобы присущи все признаки «вендетты сынов Иакова», и ксендза Иустина Пранайтиса, который был родом из Литвы и жил в Ташкенте. Властям действительно не удалось отыскать ни одного подходящего «эксперта» среди православных священников и ни одного светского специалиста по истории религий, который бы взялся подтвердить иудейский обычай ритуальных убийств.

Это не удивительно, так как миф о ритуальных убийствах восходил в первую очередь к католической традиции; по выражению известного историка Джона Клиера, кровавый навет — «продукт „католического“ импорта», который русские повторяли скорее как «заученный жест». Многие простые русские люди верили в этот миф, а многие православные священники в проповедях и даже в церковных изданиях говорили о нем как о факте. Более того, слухи о ритуальных убийствах отчасти спровоцировали ряд погромов. Но в целом Русская православная церковь никогда

не поощряла этот миф, ее духовенство мало способствовало его распространению, а порой и порицало его.

Наиболее яркими приверженцами мифа о ритуальных убийствах в Российской империи были римокатолики и католики восточного обряда, или униаты. Самым известным и влиятельным из них был Ипполит Лютостанский, польский католический священник, лишенный сана за несоблюдение целибата (в конце концов он даже заразился сифилисом), после чего он перешел в православие, принял монашеский обет, а затем отказался от него и стал автором сочинения под названием «Об употреблении евреями талмудистами-сектаторами христианской крови для религиозных целей в связи с вопросом об отношениях еврейства к христианству вообще». Лютостанский разыгрывал в петербургском трактире комические сценки на еврейские темы, утверждал, что видные евреи якобы предлагали ему сто тысяч рублей, чтобы он прекратил свои разоблачения. Он был обвинен в клевете собственным издателем, подавшим на него в суд, публично отрекся от антисемитских взглядов и осудил погромы, но после объявил, что к отречению его принудили евреи, и продолжил антисемитскую деятельность.

Вероятно, Лютостанский оказал влияние и на Пранайтиса, фигуру того же типа, хотя и менее колоритную. В 1892 году Пранайтис написал на латыни брошюру «Христианин в Талмуде еврейском, или Тайны раввинского учения о христианах» (*Christianus in Talmude Iudaeorum sive Rabbinicae doctrinae de Christianis secreta*). Поначалу его работа не привлекла особого внимания, но к моменту убийства Андрея была переведена на русский, и ведущие праворадикалы ссылались на нее как на довод в пользу «ритуальной» версии. Пранайтис писал, что евреи наверняка убьют его за разоблачение, но за двадцать пять лет, прошедших с момента

публикации, никто не удосужился исполнить его пророчество.

Пранайтиса, окончившего Императорскую Римско-католическую духовную академию в Санкт-Петербурге, некогда даже хотели возвести в сан епископа. И все же у обвинения имелись основания сомневаться на его счет. В декабре 1912 года, когда Пранайтис дал заключение по делу Бейлиса, Департамент духовных дел направил в полицию «неодобрительные сведения» о его прошлом. В 1894 году Пранайтис принес в багетную мастерскую Аванцо в Петербурге картину с просьбой позолотить раму. После того как картина по неосторожности пострадала, Пранайтис заявил, что это произведение испанского мастера Мурильо и собственность римско-католического митрополита; в качестве компенсации он потребовал три тысячи рублей. В конце концов Пранайтис сошелся с доверчивым хозяином мастерской на тысяче. Но вскоре выяснилось, что картина к Мурильо не имела никакого отношения, и Пранайтис смошенничал. По-видимому, ему не предъявили уголовного обвинения, но выслали из столицы в провинциальный приход. В 1902 году он осел в Ташкенте, расположенном на территории тогдашнего Туркестана, где навлек на себя гнев властей незаконными попытками обращать православных в католицизм с помощью «довольно хитрых приемов». Местный генерал-губернатор считал, что «фанатизм может вызвать религиозную и национальную вражду между русскими и поляками даже в Туркестане».

На роль эксперта, подтверждающего существование ритуальных убийств, Пранайтис не слишком годился, но властям не удалось найти никого попримичнее. Лютостанский, к тому моменту почти восьмидесятилетний старик, был еще жив, но обвинение скорее всего сочло его чересчур

сомнительной фигурой. Пришлось закрыть глаза на прегрешения ксендза из Ташкента.

В обвинительном акте оговаривалось, что в ритуальных убийствах участвуют лишь «фанатики» и необразованные евреи. Формально обвинители не распространяли это заявление на весь еврейский народ. Юдофобы обычно указывали на хасидов — якобы отсталую секту, к которой и принадлежали кровожадные фанатики. Но обвинение в адрес хасидов было почти равноценно обвинению всех иудеев. Хасиды составляли не всего лишь одну из иудейских сект, а одну из двух крупнейших ветвей иудаизма в Восточной Европе, к которой примыкали миллионы. К тому же, коль скоро количество евреев, склонных к ритуальным убийствам, столь велико, возникал естественный вопрос: почему так называемые образованные евреи ничего об этом не знают?

Что касается остальной части обвинительного акта, он давал защите некоторые основания для оптимизма. Обвинение по-прежнему опиралось на путаные показания фонарщиков Шаховских, данные, по их собственному признанию, в пьяном виде. Главными новыми свидетелями обвинения выступали известная преступница Вера Чеберяк, ее малолетняя дочь Людмила и бывший сокамерник Бейлиса, осведомитель Козаченко. На допросе в суде все трое должны были оказаться крайне уязвимы.

Но слабые места были и у защиты, и одним из них была тайная встреча Марголина с Верой Чеберяк. В обвинительном акте целый раздел был посвящен злополучной харьковской аванюре и заявлению Веры Чеберяк, утверждавшей, что ей предложили сорок тысяч рублей, если она сознается в убийстве Андрея. Марголину предстояло выступить в качестве свидетеля, то есть он обеспечил обвинение материалом для домыслов о еврейском заговоре, нацеленном на сокрытие правды.

Между тем два члена судебной палаты из тех, кто утверждал обвинительный акт, изложили в письменной форме особое мнение, в то время не предававшееся огласке: они заявили, что дело следует прекратить. Н. Каменцев был председателем собрания, на котором присутствовали члены Киевской судебной палаты, а Л. Рыжов — докладчиком по делу, уполномоченным изучить показания и выступить на заседании с отчетом. Иными словами, люди, лучше всего знакомые с материалами следствия, сочли представленные в обвинительном акте данные «неубедительными в общей их совокупности» и высказали мысль, что мнимые факты «едва ли могут быть признаны достоверными судебными доказательствами». В заключение они высказались за прекращение дела против Менделя Бейлиса. Однако остальные семь человек обвинительный акт утвердили.

К весне 1913 года движение в защиту Менделя Бейлиса в Европе набирало силу. Годом раньше множество известных людей поставили подписи под открытыми письмами, но требовались и фактические доказательства, опровергающие обвинение в ритуальном убийстве. Теперь на защиту Бейлиса встали некоторые мировые светила медицины.

В Германии вышла книга, где были собраны мнения четырнадцати специалистов из разных стран Западной Европы, в конце июля того же года озвучивших свои выводы на международной конференции в Лондоне. Спорили они в первую очередь со своим некогда уважаемым коллегой, а теперь главным свидетелем обвинения профессором Сикорским. Ученые единодушно подняли Сикорского на смех. Профессор Эрнст Цимке, декан Коллежда медицинской юриспруденции в Киле (Германия) заявил: «Он [Сикорский] без сомнения... руководствуется соображениями, возникающими в разнузданной фантазии, а не в холодном и критически взвешивающем уме». «Не знаешь, чему больше

удивляться — наивности или тенденциозности эксперта», — соглашался профессор Август Форель из Цюриха. Профессора Юлиус Вагнер-Яурегг (будущий лауреат Нобелевской премии по медицине) и Генрих Оберштейнер из Вены писали: «По ознакомлении с этим заключением нам представляется даже сомнительным, чтобы автор его был психиатром». Сикорского осудили участники лондонской медицинской конференции и медицинских конгрессов в Вене и Петербурге.

Вероятно, наиболее ценный вклад в защиту Бейлиса внес доклад трех британских ученых. Доктора Огастес Дж. Пеппер, Уильям Генри Уилкоккс и Чарльз Артур Мерсье утверждали: нанесенные убийцами раны были не такого типа, чтобы вызвать обильное внешнее кровотечение. Если бы целью убийства было подобное кровотечение, было бы использовано иное орудие. Убийца, который хотел выкачать из тела кровь и собрать ее в сосуд, вряд ли бы выбрал шило, способное наносить лишь колотые раны. Самое подходящее орудие в таком случае — нож, которым легко вскрыть вену или артерию. (В конце концов, заметили они, такой метод хорошо знаком евреям: еврейский забойщик скота, шохет, перерезает сосуды на шее животного остро заточенным ножом.) Представляется едва ли возможным, чтобы мальчика убили ради собирания крови, заключили ученые. Преступление походило скорее на жестокое, зверское убийство, совершенное психически неуравновешенным человеком.

В Соединенных Штатах кампания в защиту Менделя Бейлиса разворачивалась очень медленно. По численности еврейского населения — почти три миллиона человек — Америка уступала только России. Естественно было бы ожидать, что американские евреи возглавят международное движение за освобождение Бейлиса. Но этого не происходило.

Один из активистов еврейского комитета судья Майер Зульцбергер возражал против любых кампаний в поддержку конкретных евреев. «Проблема, — полагал он, — заключается только в отношениях российского правительства и еврейского народа». С его точки зрения, единственно верная тактика состояла в том, чтобы «вообще оставить Бейлиса в стороне». Зульцбергер был убежден, что «русские революционеры предпочли бы, чтобы Бейлиса признали виновным», так как это позволит им обвинить власти «в очередном преступлении».

Зато незадолго до начала процесса о деле Бейлиса в Америке начали ставить спектакли в еврейских театрах о деле Бейлиса. Началось с маленьких театров, театров-варьете и мюзик-холлов, где вниманию зрителей предлагали дуэт Бейлиса и Грузенберга в тюрьме, а также исполняющую арии и танцевальные номера Веру Чеберяк. По меньшей мере в двух постановках в качестве второстепенной сюжетной линии фигурировала история романтических отношений дочери Бейлиса и одного из его адвокатов (хотя в реальности дочери Бейлиса было всего пять лет).

В одном только Нью-Йорке анонсировали шесть постановок, не говоря уже о тех, что планировались в Филадельфии, Бостоне, Чикаго, Кливленде и других городах. И каждый постановщик утверждал, что его версия истории Бейлиса — «правдивая» и «подлинная». А Чикагский народный театр хвастал, что его спектакль «Мендель Бейлис, еврейский мученик» — «величайшая сенсация, величайшая драма двадцатого столетия».

На постановки собирались полные залы зрителей: они аплодировали Грузенбергу, освистывали обвинение и плакали при виде горестей подсудимого, окруженного безжалостными мучителями. Еврейские газеты писали о таких спектаклях с возмущением и стыдом, называя их дешевыми,

пошлыми мелодрамами, но именно через эти постановки широкая американская общественность приобщилась к ходу процесса, и кампания по защите Бейлиса приняла особый размах.

В июле Бейлиса известили, что новая дата суда наконец назначена — 25 сентября. Тем временем четверо его потенциальных спасителей — главные свидетели защиты — переживали тяжкие времена. Оставшемуся без работы Красовскому не на что было содержать семью. Хотя его оправдали по всем пунктам предъявленных обвинений, он получил выговор за «несоблюдение некоторых формальностей» при задержании крестьянина Ковбасы. Красовский арестовал этого человека за принадлежность к нелегальной политической организации, и его действия были правомерными — по крайней мере с точки зрения тогдашнего российского законодательства. Но даже тот факт, что впоследствии полиция вновь арестовала Ковбасу, не изменил положения Красовского, которому запретили вернуться на службу.

Над журналистом Степаном Бразулем-Брушковским висело обвинение в оговоре Веры Чеберяк, в случае признания вины грозившее ему тюрьмой. Правда, власти отложили суд над Бразулем до окончания разбирательства по делу Бейлиса. В конце концов, Бразуль мог выйти из него победителем, а его победа бросила бы тень на главную свидетельницу обвинения. Понадобилось время, чтобы найти некое абсурдное обвинение, чтобы унижить Бразуля перед судом: властям донесли, что в киевском городском саду при исполнении «Боже, царя храни» Бразуль якобы первые два раза встал, а на третий остался сидеть. Бразуля обвинили в оскорблении величества и приговорили к году крепости, куда сажали политических преступников.

Анархист Амзор Караев, арестованный в июле 1912 года, был приговорен к пяти годам ссылки в далекую сибирскую деревню, более чем в пяти с половиной тысячах километров от Киева. Он показал под присягой, что сводный брат Веры Чеберяк Петр Сингаевский признался ему в причастности к убийству Андрея Ющинского. Защита воспользовалась правом вызвать Караева в суд как свидетеля, и власти обязаны были его доставить. Но 30 августа Караев отправил Красовскому письмо, сообщая, что обвинение наверняка предпримет все, чтобы помешать ему давать показания на процессе. Он намеревался незаконно покинуть место ссылки. В царской России бежать из ссылки не представляло большого труда. И осуществить побег было бы куда проще, если бы Караев не написал человеку, находившемуся, как можно было догадаться, под пристальным надзором полиции. (Порой создается впечатление, что Караев был не вполне в здравом уме.) Надо ли говорить, что его письмо к Красовскому перехватили, а самого Караева арестовали за планируемый побег.

Только Махалин, вместе с Караевым пытавшийся выудить у Сингаевского признание, отделался легко, вовремя уехав из Киева. После смерти деда он получил скромное наследство, позволившее ему перестать давать уроки и готовить себя к оперной карьере, щеголяя во франтоватых костюмах, к которым имел слабость.

Процесс

Около полудня 25 сентября 1913 года Мендель Бейлис в сопровождении конвойных вошел в зал суда — длинное помещение с большими окнами с одной стороны, достаточно просторное, чтобы в нем могли разместиться двести человек. За судейским столом, задрапированным малиновой тканью, сидели четыре человека в мантиях, один из них — с величественной седой бородой, разделенной посередине на две пушистые пряди. Наверху, на галерее, за маленькими пюпитрами, теснились около полусотни русских и иностранных журналистов, которым посчастливилось получить пропуска.

«Вряд ли сыщется место на земном шаре, где живут люди, умеющие читать и получающие газеты, и где бы не знали о деле Бейлиса или были равнодушны к нему», — отмечал Владимир Дмитриевич Набоков, видный либеральный деятель и оппонент режима, писавший о процессе для газеты «Речь».

Суд над Бейлисом проходил публично, и на него приехали представители ста пятидесяти новостных агентств, по большей части зарубежных. Чтобы справиться с возросшим потоком сообщений, на телеграф пришлось нанять еще сорок служащих и наладить новые линии, но здание суда не было рассчитано на такой наплыв посетителей. Акустика в зале была плохой, помещение, несмотря на электрические вентиляторы, плохо проветривалось. В любую погоду находиться здесь было тяжело, во время процесса свидетели неоднократно теряли сознание. Заседания продолжались по двенадцать — четырнадцать часов семь дней в неделю, с единственной передышкой в воскресенье, когда объявляли перерыв на полдня.

Появившись на первом заседании, Бейлис обменялся несколькими словами со своими поверенными (ему уже рассказали, что его защищают лучшие адвокаты страны), затем опустился на скамью подсудимых, расположенную справа от судейского стола, перпендикулярно ему, и посмотрел на присяжных, сидевших напротив на другом конце зала. Это были в основном простые крестьяне, стриженные под горшок, иные даже в подпоясанных кушаками кафтанах.

Состав присяжных ошеломил либеральную прессу: в Киеве, университетском городе, такой состав был делом неслыханным. Семеро присяжных были официально записаны как «крестьяне». Двое — «мещане» (категория, к которой принадлежал и сам Бейлис), то есть, по сути, простые рабочие. Еще трое — «чиновники» (под это определение подпадали почти все государственные служащие, занятые канцелярской работой).

Было очевидно, что состав присяжных подобран тенденциозно. Явных признаков подтасовки при наборе присяжных обнаружить не удалось, зато достоверно известно, что, когда полный состав присяжных определился, министр внутренних дел Н. А. Маклаков распорядился установить над всеми потенциальными присяжными надзор тайной полиции. Когда двенадцать присяжных были окончательно отобраны и изолированы от общения с посторонними в здании суда на все время процесса, по распоряжению министра внутренних дел к ним были приставлены тридцать три агента — некоторые были переодеты местными служащими, — чтобы пристально наблюдать за присяжными и слушать их разговоры.

Команда адвокатов Менделя Бейлиса, блистательное собрание прославленных юристов, состояла из пяти человек, работавших безвозмездно. Возглавлял команду единственный еврей Оскар Грузенберг. Роль лидера не вполне отвечала

его темпераменту. Грузенбергу неоднократно угрожали дисциплинарными взысканиями за пререкания с прокурорами и судьями, а однажды он написал резкое письмо, где оскорбительно отозвался о министре юстиции, зная, что полиция вскрыет и прочтет это послание, адресованное заключенному. Коллеги в один голос признавали, что Грузенберг бывал вспыльчив и деспотичен, но его талант адвоката не подлежал сомнению, к тому же он — один из немногих — уже сталкивался в своей практике с делом, в котором фигурировало подозрение в попытке совершить ритуальное убийство: за десять лет до дела Бейлиса он успешно защитил Давида Блондеса, парикмахера из Вильны.

Перекрестный допрос на процессе предстояло в основном вести Оскару Грузенбергу и Николаю Карабчевскому — последний был не просто выдающимся адвокатом, но всероссийской знаменитостью: в частности, он был адвокатом Егора Сазонова, убившего министра внутренних дел Плеве. Его темпераментная речь спасла Сазонова от петли: казнь заменили пожизненной каторгой. Карабчевский держался как романтический герой и был окружен поклонниками, которые приходили на суды с его участием как в театр. Выдающийся адвокат прославился как виртуоз мелодраматической риторики, покорявшей образованных судей и начитанных присяжных, хорошо знакомых с русской и мировой литературой. Однако теперь, чтобы склонить присяжных на свою сторону, Карабчевскому явно следовало отказаться от присущего ему стиля.

Третьим адвокатом был Александр Зарудный, небольшого роста бородатый пятидесятилетний мужчина непримечательной внешности, который вместе с Грузенбергом защищал членов революционного Петербургского совета рабочих депутатов 1905 года, в том числе его руководителя Льва Троцкого. Грузенберг считал лучшие речи Зарудного

блестящими, пусть и неровными, а Карабчевский сравнивал его аргументацию с движениями шахматных фигур, перескакивающих несколько клеток, так что слушателям приходилось прилагать усилия, чтобы восстановить ход мыслей оратора.

Из Петербурга должен был приехать, вероятно, самый яркий адвокат-интеллектуал В. А. Маклаков, брат министра внутренних дел, известный как защитник революционеров и представлявший в Думе партию кадетов. Сорокачетырехлетний Маклаков принадлежал к более молодому поколению адвокатов, предпочитавших строить свои речи в не столь изощренной манере, как старшие коллеги, и говоривших на простом, доступном всем слушателям, внятном языке.

Наконец, еще одним защитником Бейлиса был Д. Н. Григорович-Барский, уважаемый киевский адвокат, часто навещавший своего подзащитного в тюрьме. Отчасти он был лично заинтересован в этом деле. Семью годами ранее он в качестве прокурора тщетно пытался добиться наказания для Веры Чеберяк, ослепившей Павла Мифле. Теперь ему представился случай вновь столкнуться с ней в суде и пусть не вынести приговор, но хотя бы заявить о ее причастности к еще более страшному преступлению.

Обвинение состояло из куда менее ярких фигур. Формально прокурор был один — О. Ю. Виппер. Худой, напряженный, юркий, Виппер занимал пост товарища прокурора Петербургской судебной палаты.

Помощниками Виппера были назначены Г. Г. Замысловский, депутат Государственной думы от фракции крайне правых, и А. С. Шмаков, присяжный поверенный, известный своим антисемитизмом и гордившийся им, гласный Московской городской думы, автор сочинений о мировом еврейском заговоре. В последней написанной им на тот момент книге «Международное тайное правительство» он утверждал: «Не

существует пятнадцать миллионов евреев, как их насчитывают на обоих полушариях... а есть всего один еврей, но — отпечатанный в пятнадцати миллионах экземпляров». Формально Замысловский и Шмаков выступали как гражданские истцы, то есть поверенные матери Андрея Ющинского, но выполняли обязанности помощников прокурора. Российское законодательство позволяло совмещать разбирательство по уголовному делу с рассмотрением гражданского иска о возмещении убытков. Поверенные стремились взыскать с обвиняемого пять тысяч рублей (то есть жалованье Бейлиса почти за десять лет).

Грузенберг и Марголин, первый адвокат Бейлиса, относились к Шмакову на удивление снисходительно, считая его человеком по природе честным, но пошедшим по ложному пути. В Замысловском же оба видели человека «исключительной душевной низости», карьериста и интригана, надеявшегося извлечь из известности, полученной благодаря процессу Бейлиса, профессиональную и материальную выгоду.

Что касается состава судей, сколь-нибудь заметную роль играл лишь председатель, судья Федор Болдырев. Карабчевский был о нем невысокого мнения. Необъяснимым образом незадолго до процесса Болдырев был переведен в Киев из провинциального суда в маленькой Умани, расположенной более чем в ста пятидесяти километрах к югу. Министр юстиции пообещал Болдыреву место председателя Киевской судебной палаты. Тот, несомненно, понимал, что повышение зависит от того, сколь успешно он будет вести дело.

Два часа ушло на утомительные формальности и препирательства. Защитники и обвинители спорили, кому где сидеть. Адвокаты не хотели, чтобы обвинители сидели слишком близко к присяжным. Обвинители, в свою очередь, не хотели сидеть рядом с адвокатами, опасаясь, что защита

подслушает их разговоры. Нельзя было начинать заседание, пока не явятся все свидетели, но никак не могли разыскать Ульяну Шаховскую, жену фонарщика. Наконец, полиция обнаружила ее, пьяную, на улице и доставила в суд. В два часа двадцать восемь минут судебный пристав наконец провозгласил: «Прошу встать! Суд идет».

Председатель попросил Бейлиса встать и задал ему обычные в таких случаях вопросы: имя, возраст, место проживания, семейное положение, вероисповедание. Очевидцы рассказывали, что на вопрос «Вы еврей?» Бейлис ответил с неожиданной силой — громче, чем его задал судья. «Я не узнал собственного голоса», — позже вспоминал Бейлис. Он почувствовал, что почти кричит: «Да, еврей!»

Точно такие вопросы судья задавал всем свидетелям, после чего их приводил к присяге священнослужитель того же вероисповедания: иудеев — раввин, католиков — католический священник и так далее.

Больше всего внимания привлекла Вера Чеберяк, невысокая, худая, в элегантной шляпке с желтыми перьями. Мнения очевидцев о ней разнятся. Одни находили ее красивой, другие — нет, но все сходились на том, что в ней было нечто притягательное. Набоков в газете «Речь» описывал ее как смуглую женщину с полными чувственными губами и энергичным подбородком. Многие отмечали характерные для нее резкие движения и большие, темные, беспокойно бегавшие глаза. Когда Чеберяк привели к присяге и она предстала перед судом — все свидетели присягали стоя, если им позволяло здоровье, — председатель спросил: «Вы были под судом. За что вы судились?» На мгновение Чеберяк как будто испугалась, опустила голову и ничего не ответила. Председатель истолковал ее движение как утвердительный ответ, и в протокол занесли, что Чеберяк признана виновной в обмане владельца местной бакалейной лавки и приговорена

к тюремному заключению. С точки зрения защиты, начало было хорошим: присяжные теперь знали, что эта свидетельница — преступница.

К концу первого заседания, продолжавшегося до позднего вечера, стало ясно, сколь утомительным будет процесс. Вера Чеберяк несколько раз теряла сознание, от голода стало плохо некоторым детям (в суде не позаботились распорядиться о том, чтобы их покормить). Бейлис вспоминал, что к тому моменту, когда его увели из зала суда, он сам «был близок к обмороку от однообразия и усталости».

На следующее утро поездка Бейлиса из тюрьмы в суд вызвала гораздо меньше возбуждения в горожанах, чем накануне. Толпа схлынула, и в маленькое окошко кареты Бейлис мог видеть лишь череду типичных для Киева и других городов Российской империи двух- и трехэтажных домов, отштукатуренных и выкрашенных в светлые тона: желтый, голубой, зеленый, красный, розовый. Наконец карета остановилась у здания суда, имевшего форму неправильного многоугольника и сложенного из блеклого кирпича. Конвойные провели Бейлиса в одну из непримечательных дверей, вверх по лестнице, а затем по длинным слабо освещенным коридорам.

В российских судах ни обвинению, ни защите не давали делать перед началом процесса никаких заявлений. Вместо этого зачитывали обвинительный акт. Текст зачитал один из помощников председателя — громко и отчетливо, после чего председатель, судья Болдырев, повернулся к Бейлису и спросил: «Признаете ли себя виновным в том, что по предварительному соглашению с другими, не обнаруженными следствием лицами, с обдуманном заранее намерением, из побуждений религиозного изуверства, для обрядовых целей лишить жизни мальчика Андрея Ющинского, 12 марта 1911 года... связав [ему] руки и зажимая ему рот,

умертвили его... нанеся ему колющим орудием сорок семь ран на голове, шее, и туловище, причинив ранение мозговой оболочки, печени, правой почки, легких и сердца, каковые повреждения, сопровождаясь тяжкими и продолжительными страданиями, вызвали почти полное обескровление тела Ющинского?»

Бейлис ответил: «Нет. Не виновен. Живу честным трудом. Служу. Содержу жену, пятерых детей... Ничего этого не было...» Болдырев перебил его, сказав, что не время давать объяснения, но позже он сможет высказаться и даже имеет право задавать вопросы свидетелям.

Первой допрашивали мать Андрея Александру Приходько, женщину лет тридцати пяти, с длинной косой. Ее показания произвели гнетущее впечатление. «Андрюша был незаконный. Вы его любили так же, как и этих [от мужа] детей?» — спросил прокурор. «Больше всех», — ответила Александра. Примечательно, что Олимпиада Нежинская, бабушка Андрея со стороны матери, отказалась говорить что-либо против евреев. Прокурор спросил Олимпиаду: «А вы не обращали внимания на то, что он дружил с еврейским мальчиком?» — «Нет», — ответила та. Говорила ли она полиции, что, «может, евреи его убили»? Ответ на этот вопрос тоже был отрицательным.

Показания первых свидетелей не имели никакого отношения к обвинению против Менделя Бейлиса. Странное положение подсудимого, на которого никто не обращал внимания, отмечали многие. По словам Степана Кондрушкина, коллеги Набокова по «Речи», можно несколько часов или даже весь день просидеть в зале суда, так и не поняв, кого же судят. Один из полицейских чиновников, отправлявших ежедневные рапорты, писал: «Процесс производит странное впечатление: в течение трех дней Бейлисом никто не интересуется».

Особый интерес в первые несколько дней суда представляли показания полицейских, которые мялись, пытаясь объяснить свои неправомерные действия на месте преступления. Как отмечали многие очевидцы, порой казалось, что судят именно киевскую полицию. Мать, отчим и бабушка Андрея подробно рассказывали о мучительных неделях, пережитых ими по вине Мищука и Красовского. Обвинение туманно намекало на некий еврейский заговор, сбивший полицию с толку.

Друзья Андрея и его школьные товарищи, от застенчивости заикаясь и теребя брюки или края курток, вспоминали о мальчике. Гершик Арендер вспомнил, как Андрюша делился с ним мечтами о своем настоящем отце. Рассказал также, что однажды подарил другу игрушечное ружье, стрелявшее порохом и даже настоящими пулями (слепленными вручную из расплавленного свинца). Во время перекрестного допроса отца Гершика Грузенберг указал на то, что на улицах Слободки русские дети часто играли с еврейскими. «И не случалось, чтобы потом они пропадали?» — спросил он. Свидетель ответил, что, разумеется, нет.

Обвинителей заинтересовал старый еврей Тартаковский, жилец Арендеров, который, по слухам, был сокрушен смертью Андрея. Одиноким пожилой человек привязался к мальчику, а после его убийства был вне себя от горя. Несчастный старик вскоре умер, подавившись костью за обедом, но обвинители намекали, что и здесь не обошлось без еврейских козней.

Зарудный постоянно вмешивался с возражениями и добился желаемого эффекта. Виппер, государственный обвинитель, пытался выдержать язвительный и высокомерный тон, но постоянно нервничал, выходил из себя, даже терялся. Наоборот, Шмаков — тучный, медлительный — не утратил присущей ему саркастичности.

Утром третьего дня горожане осаждали киевские газетные киоски. Наиболее сенсационное событие первых дней процесса произошло не в зале суда, а вне его — на первой полосе газеты «Киевлянин» ее редактор Василий Шульгин опубликовал статью, в которой в пух и прах разнес обвинение. Экземпляров хватило не всем. Продавцы газет изрядно поживились: покупатели платили рубль только за то, чтобы прочитать текст, стоя у киоска. Защита успела купить выпуск за три рубля. Вскоре цена подскочила до пяти. К вечеру правительство изъяло тираж номера, и его стали продавать по пятнадцать рублей.

Шульгин — одна из самых интригующих фигур в деле Бейлиса: блестящий журналист, депутат Думы, непримиримый противник «ритуальной» версии, убежденный монархист и закоренелый антисемит, считавший евреев разрушительной, хищнической силой, которую следует держать в узде. Он считал, что этот суд оскорбляет чувство справедливости каждого человека. Шульгин негодовал:

Обвинительный акт по делу Бейлиса является не обвинением этого одного человека, это есть обвинение целого народа в одном из самых тяжких преступлений, это есть обвинение целой религии в одном из самых позорных суеверий.

Увы, не надо быть юристом, надо быть просто здравомыслящим человеком, чтобы понять, что обвинение против Бейлиса есть лепет, который мало-мальски способный защитник разобьет шутя.

Шульгин с гневом обрушился на прокурора палаты Георгия Чаплинского. Рискуя навлечь на себя обвинение в клевете, он заключил:

...Мы утверждаем, что прокурор Чаплинский запугал своих подчиненных и задушил попытку осветить дело со всех сторон.

Шульгин прямо обвинил власти в подтасовке фактов с целью погубить невиновного. По всей империи газеты перепечатывали выдержки из его статьи. В деле Бейлиса наконец нашелся человек, сказавший: «Я обвиняю». В отличие от знаменитой статьи Эмиля Золя в защиту Дрейфуса, она не породила целое движение в защиту обвиняемого. Но оказала огромное влияние на мнение образованной публики.

После выхода статьи Шульгина давление на прессу многократно усилилось: репрессиям подверглись сто две газеты. Были арестованы шесть редакторов, конфисковано тридцать шесть выпусков различных газет, три газеты закрыли на время процесса, сорок три оштрафовали на общую сумму 12 850 рублей. Наказания, назначаемые за «попытку возбуждающе влиять на общество», противоречили закону, так как материалы, за которые пресса подвергалась преследованиям, не содержали никаких следов «возбуждающего влияния», и в частной переписке царские чиновники это признавали. К тому же меры взыскания были бессистемными и неэффективными. (В самом деле — чего власти думали достичь, оштрафовав одного из редакторов «Речи» В. Д. Набокова на сто рублей?) Атака на прессу составляла часть более широкой — и по большей части тщетной — попытки призвать общество к порядку. Россию захлестнула новая волна забастовок — им предстояло продолжаться еще одиннадцать месяцев, пока не прозвучат выстрелы Первой мировой войны. Бесчисленные группы бастующих рабочих требовали освобождения Бейлиса. В Варшаве полиции пришлось разгонять рабочую демонстрацию, собравшую несколько тысяч человек. В Вильне, Риге, Минске начались забастовки

еврейских рабочих в поддержку Бейлиса. По всей России студенты устраивали протесты. Правые студенты Петербургского университета, последовав примеру Шульгина, опубликовали письмо, где заявили, что, считая евреев «вредной нацией», вынуждены протестовать против «несправедливых обвинений в ритуальном убийстве».

Отдельные случаи насилия по отношению к евреям все же имели место, но в целом властям, стремившимся не допустить беспорядков, удалось предотвратить попытки отомстить евреям.

На четвертый день, 28 сентября, когда один за другим выходили давать показания не имевшие никакого отношения к делу свидетели, судья вызвал Михаила Наконечного, одного из самых убедительных свидетелей защиты и, пожалуй, единственного, кого сторонники Бейлиса могли с полным правом назвать героем.

Сапожник Наконечный по прозвищу Лягушка, отец семерых детей, жил неподалеку от Бейлиса, на противоположном конце того же двора, где стоял дом Чеберяков. Он сделал для оправдания Бейлиса больше остальных свидетелей. Два года назад, услышав, что фонарщик Казимир Шаховской показывает против Бейлиса, он сообщил властям, что слышал, как тот клялся «пришить Менделя к делу». Сам Шаховской признал, что, обличая его, Наконечный говорил правду. Высокий и опрятный Наконечный нисколько не походил на лягушку. Помимо основного ремесла, он выполнял функции своего рода поверенного для бедных: писал за неграмотных прошения и давал им советы по заключению сделок. Все, кто его видел, говорили, что он производил впечатление человека порядочного и искреннего.

Замысловский, обвинитель и видный депутат Думы, попытался сбить сапожника из Лукьяновки с толку или хотя бы заставить нервничать, но Наконечный был не из тех, кого

можно запугать. Он легко парировал нападки и ехидные реплики.

Наконец-то оказал защите неоценимую услугу, впервые четко объяснив, почему история о том, как Бейлис схватил и потащил Андрюшу, противоречит здравому смыслу. Когда Замысловский упомянул эту версию, Наконецный почти закричал: «Если бы это случилось, все дети подняли бы такой крик, что не прошло бы и часа, как все мы, вся улица наша, уже знали бы об этой пропаже мальчика...»

Видя достоинство и горячность, с какими говорил свидетель, суд не решился его перебивать. Вернувшись на свое место, Наконецный опустил голову на плечо своей четырнадцатилетней дочери Дуни и расплакался. Девочка тоже была важной свидетельницей — в один из наиболее напряженных моментов процесса ее вызовут на очную ставку с дочерью Веры Чеберяк.

Допрос Чеберяк был назначен несколькими днями позже, но к концу четвертого дня ее имя вдруг всплыло самым неожиданным образом. Среди череды бесполезных свидетелей обвинения оказалась некая Дарья Чеховская, которую позвали, чтобы она подтвердила добропорядочность матери Андрея. Когда женщине задали обычный вопрос: «Что вы можете сказать по этому делу?» — ее ответ ошеломил присутствующих. Сидя в свидетельской комнате, сообщила Чеховская, она слышала, как Вера Чеберяк пыталась запугать одного мальчика. Женщины сидели на одной лавке, спиной друг к другу, и Чеховская услышала, как Чеберяк подозвала товарища Жени. «Она... стала обучать его, — заявила Чеховская. — Чеберяк говорит ему: ты скажи на суде, что нас пошло трое на завод: я, Женя Чеберяк и Андрюша Ющинский. За нами погнались. Мы убежали, а Андрюшу схватили. <...> Скажи, что ты вырвался из рук [Бейлиса], а Ющинский остался. Скажи, что он взял его и потащил». По

словам Чеховской, мальчик ответил Чеберяк, что не собирается говорить ничего такого. Обвинение попыталось уличить свидетельницу во лжи. Виппер прикрикнул: «Вас вызвали показать о матери, а вот какую новость преподносите!» Но он не смог сбить ее с толку.

Появились предпосылки для очной ставки — принятой в российских судах практики, когда свидетели вступали в открытую конфронтацию. Судья даст Вере Чеберяк шанс в лицо назвать того мальчика лгуном.

Пятый день, по словам корреспондента «Речи» Степана Кондрушкина, следовало по справедливости назвать «днем о черной бороде». Чтобы доказать, что в убийстве Андрея Ющинского виноват Бейлис и другие бородачи, обвинение обратилось к Казимиру и Ульяне Шаховским. Злоупотребляющие спиртным супруги уже изложили следователям полдюжины разных версий, противореча своим прежним показаниям и друг другу, а в конце и вовсе отказались от большей части сказанного. Казимир, запойный пьяница, говорил с заминками, то и дело путаясь в словах. Обвинители и защитники отчаянно пытались добиться от него хоть каких-то осмысленных реплик. Шаховской упорно настаивал на части своей прежней истории — якобы Женя сказал ему, что кто-то прогнал мальчиков с зайцевского завода. Но в остальном его показания принесли обвинению мало пользы:

— Объясните, чем вызывалась такая смена показаний ваших? Подучивал ли вас кто-нибудь?

— А как же.

— Значит, [сыщики] поили вас и жену до опьянения?

— Да, до опьянения.

Ульяна же, со слезящимися глазами и застывшей на губах растерянной улыбкой, как писала газета «Киевлянин», выглядела так, будто «у нее не все дома». Правда ли, что

бродячая нищенка Анна Волкивна сказала ей, что видела, как мужчина с черной бородой тащил Андриюшу? «Да», — прошептала Шаховская. Но когда от нее попытались добиться, что же Анна на самом деле ей сказала, она ответила: «Не помню, она была сильно пьяная, и я не могла слышать».

Последним свидетелем, которого предполагали допросить в тот день, был Владимир Голубев. Именно он в мае 1911 года первым указал властям на человека, которого называл «жид Мендель». Голубев был полезен обвинению, но в то же время опасен. Последние полтора года он жил под пристальным надзором властей. Он поместил в газете своей организации объявление о несанкционированной публичной панихиде по Андрею, и полиция оштрафовала его на десять рублей. Еще один номер газеты конфисковали за провокационную статью о деле и стихи, в которых увидели призыв к погрому. Власти беспокоились не зря. К концу лета 1912 года Голубева одолела жажда еврейской крови. В ночь на 5 сентября 1912 года Голубев и с десятков его соратников, вооруженные железными прутьями и резиновыми дубинками, направились на Подол, где жили большей частью евреи. Набросившись на нескольких евреев (и одного русского студента), они кричали «Бей жидов!» и «Вот вам за Столыпина!». Когда за ними погналась полиция, они побежали в сторону Хоральной синагоги, где избili еще нескольких евреев. Полиция догнала Голубева со всей его компанией и арестовала их. Однако дела против него так и не возбудили, поэтому, принимая присягу как свидетель, Голубев мог с чистой совестью заявить, что не был под судом.

Дача показаний в суде должна была стать величайшим событием его жизни. Каждое его слово будет записано, и утренние газеты — даже либеральные — без всяких сокращений напечатают его речи. Но он совершенно не подходил на грандиозную роль вдохновителя процесса, за которым следил

весь мир. Голубев выглядел таким нездоровым, что судья предложил ему, если пожелает, отложить допрос до завтра. «Нет, я сейчас могу говорить», — отозвался Голубев и тут же упал в обморок.

В результате Голубев давал показания на следующее утро. В основном он вновь излагал причины, заставившие его заподозрить приказчика кирпичного завода. Начитавшись сочинений псевдоученого Ипполита Лютостанского, он быстро пришел к выводу, что преступление похоже на «жидовские ритуальные убийства». Голубев обошел всю Лукьяновку, чтобы выяснить, «имел ли мальчик Ющинский какие-нибудь сношения с жидами». Голубев намекнул, что евреи, вероятно, подкупили сыщиков Мищука и Красовского, и из всех свидетелей обвинения выглядел наиболее выигрышно. Но, отвечая Грузенбергу во время перекрестного допроса, он ненароком обмолвился об одном важном для защиты обстоятельстве. Через несколько недель после убийства Андрея Голубев первым спросил Женю Чеберяк, когда тот в последний раз видел друга. И Женя тогда ничего не сказал о катании с Андрюшей на «мяле» и о погнавшихся за ребятами бородачах. По словам Голубева, Женя рассказал ему, что они с Андреем играли на лугу, купили сала в лавке, потом пошли к Жене домой, откуда — самая важная деталь — Андрей вышел без пальто. Из этого рассказа следует, что пальто Андрей оставил в квартире Чеберяков, но его так и не нашли. Защита попыталась привлечь внимание к очевидному выводу: кто знает, что случилось с пальто Андрея, знает, что случилось и с самим Андреем.

Около часу того же, шестого дня суда — 30 сентября 1913 года — судьи, присяжные, юристы и отдельные свидетели, включая Голубева, покинули здание суда и разместились в двадцати пяти экипажах и автомобилях. Кавалькада, сопровождаемая конными полицейскими, потянулась к

Лукьяновке, чтобы осмотреть место преступления и его окрестности. Через два года, два месяца и восемь дней после ночного ареста Бейлис ехал домой.

Был холодный и ветреный день. Собирались грозные облака. Когда процессия добралась до Лукьяновки, в воздухе пахло гарью — где-то поблизости был пожар. Как отмечал репортер, «около домов, в дверях и окнах» застыли «дети, женщины, рабочие и проститутки». Полиция прогоняла их, но не проходило и пяти минут, как они, отступив на несколько шагов, появлялись вновь.

Бейлис наблюдал за происходящим сквозь маленькое окошко тюремной кареты. На вопрос председателя, желает ли он присутствовать при осмотре разных мест, Бейлис ответил: «Желаю, желаю!» — и ступил на землю, где прежде жил. При виде знакомых лиц он снимал шляпу и кланялся.

В доме, где раньше жила Вера Чеберяк, двум мальчикам поручили провести эксперимент. Вместе с полицейским они поднялись на второй этаж и изобразили, как мог бы кричать Андрей. Снизу их было слышно, а значит, Зинаида Малицкая, нижняя соседка Чеберяков, действительно могла слышать последние крики Андрея и шарканье ног над головой. («Как бы танцующая пара, — давала показания Малицкая, — как будто делают „па“, то в одну сторону, то в другую».)

Теперь, когда Бейлис шел по знакомым улицам, толпа росла и все больше шумела. Полиции не удавалось отогнать людей. Бейлис то и дело раскланивался. Люди в волнении кричали: «Бейлис! Бейлис!» Он улыбался, а глаза застилала слезы. Процессия приблизилась к его бывшему дому на краю территории завода. Желает ли Бейлис зайти внутрь? «Желаю, желаю», — опять поспешно ответил он. Осмотрев квартиру, где семья Бейлиса уже не жила, собравшиеся отправились на завод, где увидели знаменитые «мяла» и печь, куда «мужчины

с черными бородами» якобы потащили жертву. «Все как прежде!» — воскликнул Бейлис.

Но кое-что все же изменилось. Два года назад сыщик Мишук, бродя по Лукьяновке в поисках свидетелей, был разочарован нежеланием товарищей Андрея по играм говорить о покойном друге. Казалось, они не хотят о нем вспоминать. Но В. Г. Короленко, писавший о процессе для газеты «Русские ведомости», без труда завязал разговор с детьми, обрушившими на него целый шквал воспоминаний. «Бывало, играем с ним [Андреем] в солдатики или во что другое — всегда все возвратит, никогда ничего не утащит», — вспоминали они. (В отличие от Жени Чеберяка, который крал, а потом спорил: «Мое».) Хороший товарищ? «Очень хороший». На этот раз все охотно говорили об Андрее.

Поросший кустарником склон на подходе к пещере, где нашли тело мальчика, оказался таким крутым, что те, кто послабее, взяли под руку тех, кто покрепче. Пещеру освещал фонарь, отблески которого очевидцам показались зловещими. Присяжные пробирались внутрь по одному, и, выходя, каждый отряхивал пыль с одежды. Уже шел дождь, и к тому времени, когда члены собрания заняли свои места в экипажах, все промокли.

Утром на седьмой день суда председатель вызвал Анну Захарову по прозвищу Волкивна, и в зал, еле волоча ноги, вошла толстая, обрюзгшая старуха, одетая в лохмотья. По свидетельству Шаховской (в одной из версий), Анна утверждала, что видела, как мужчина с черной бородой тащил Андрея. Давая показания под присягой, Волкивна отрицала, что видела или говорила что-либо подобное:

- Что вы знаете по этому делу?
- Ничего не знаю...
- Вы выпиваете?
- Немножко выпиваю. (Смех в публике.)

— Вас сыщики допрашивали?

— Да, я сказала, что ничего не говорила, ничего не знаю...

Показания получились такими, как если бы перекрестный допрос вела защита, хотя все вопросы, кроме самого первого, задавал прокурор. За время допроса Волкивна под хохот публики дважды направлялась куда-то со свидетельского места, но пристав возвращал ее обратно. Раздраженный Виппер скомкал допрос. Защита отказалась задавать вопросы, не видя в этом необходимости. После допроса Волкивны корреспондент лондонской *The Times* писал:

Итак, испарилось последнее свидетельство против Бейлиса из тех, что обвинение по крупицам наскребло среди воров и пьяниц, и немисливо, чтобы правительство империи позволило этому тошнотворному процессу продолжаться.

Зритель, не веря своим глазам, уже имел все основания спросить не только о том, как дело может продолжаться, но и как обвинение может вести его, неизбежно давая повод к насмешкам. Обвинители были далеко не глупыми людьми. За процессом внимательно наблюдал министр юстиции Щегловитов, который при всех своих недостатках оставался весьма искусственным юристом. Все формальные юридические процедуры в российской судебной системе строго соблюдались; важных свидетелей допросили заранее, иных по несколько раз. Обвинение *знало, что* будут говорить Волкивна и Шаховские, и тем не менее опиралось на их показания.

В конфиденциальных беседах министр юстиции Щегловитов не раз признавал его шаткость, но о прекращении дела не было и речи. На слабость улик против подсудимого министр смотрел лишь как на задачу, которую надо решить.

Его беседы с другими людьми примерно за год до начала процесса показывают, как он постепенно нащупывал оригинальное и изощренное решение.

Где-то в середине или конце 1912 года, когда Щегловитова особенно одолевали сомнения, он встретился со старым знакомым, чиновником Владимиром Тальбергом. Последний упрекнул министра в том, что тот поддерживает дело, выстроенное «на крайне шатких основаниях», и Щегловитов не спорил с его оценкой — но заявил, что, как он убедился «из собственного опыта», даже «самые безнадежные» дела порой «благодаря случайностям, а главное — благодаря талантливости председателя и прокурора» заканчиваются обвинительным приговором. Иными словами, он рассчитывал на предубежденность судей и слепой случай.

Суть тактики обвинения составило стремление отделить вопрос о виновности Бейлиса от вопроса о ритуальной природе преступления. Было решено, что судья Болдырев попросит присяжных рассмотреть эти вопросы порознь. Первый вопрос простой: виновен ли подсудимый в убийстве Андрея Ющинского? Второй вопрос надлежало составить так, чтобы присяжным пришлось решить, носило ли убийство Андрея Ющинского характер еврейского ритуала. (Последний вопрос надлежало задать косвенно, но так, чтобы смысл его был совершенно ясен.) Присяжные вольны считать, что Мендель Бейлис невиновен, но доводы обвинения должны побудить их ответить на второй вопрос утвердительно. Похоже, что разграничение ритуальной природы убийства и виновности подсудимого — исторически беспрецедентный прием.

Ведя против Бейлиса дело, необоснованность которого была очевидна им самим, обвинители не особенно беспокоились. Они знали, что, даже если присяжные сочтут подсудимого невиновным, останется возможность добиться

нужного им решения. Обвинение даже не пыталось скрыть своих расчетов. Незадолго до начала процесса Маклаков, адвокат Бейлиса, встретился в кулуарах Государственной думы с гражданским истцом Замысловским. Маклаков сказал Замысловскому, что у обвинения слабые улики и Бейлиса наверняка оправдают. «Пусть оправдают, — ответил Замысловский, — нам важно доказать ритуальность убийства».

Но едва ли обвинение отказалось при этом от попытки добиться, чтобы Бейлиса признали виновным и приговорили к пожизненной каторге. У обвинения было два незаконных преимущества: оно ежедневно получало секретные рапорты о живущих в изоляции присяжных и имело союзника в лице судьи Болдырева. В первые пять дней процесса судья, вероятно заботясь о своей репутации, вел заседание беспристрастно и неоднократно делал прокурору Випперу замечания, когда тот нарушал процессуальный порядок. Однако поведение председателя вызвало недовольство прокурора Киевской судебной палаты Чаплинского. Вероятно, Чаплинский поговорил с Болдыревым, потому что на следующий день ему доложили о «примирении председателя с Виппером». К одиннадцатому дню в очередном рапорте отмечалось, что «председатель умело направляет внимание присяжных на детали обвинения и незаметно, но неукоснительно наставляет на правильный путь запутавшихся свидетелей, вырубая их от обстрела защитников».

Болдырев знал об установленной за присяжными незаконной слежке, одобрял ее и вместе с Виппером и Замысловским выслушивал доклады об их частных разговорах. То, что судья на стороне обвинения, с каждым днем становилось очевиднее. Но лишь к концу суда выяснилось, на какие крайние меры готов пойти Болдырев, чтобы повысить шансы обвинительного приговора.

По словам корреспондента «Киевской мысли» Владимира Бонч-Бруевича, на восьмой день суда зал был переполнен, все места были заняты «нарядными дамами, девушками киевского общества, священниками, военными, чиновниками». Судейские под малейшим предлогом остаться в зале усаживались в ряд за судьями, поблескивая золотыми пуговицами мундиров. Публика не просто волновалась — она «жадно» выжидала. Зрители хотели присутствовать при допросе Веры Чеберяк.

Допрос свидетелей в этот день был спланирован идеально: он подогревал интерес публики, но не затмевал явление самой злодейки. Бейлис воспользовался правом, предоставляемым подсудимому российской судебной системой, давать «объяснения» по поводу некоторых обстоятельств, в данном случае связанных с его участием в приготовлении мацы для владельца завода Ионы Зайцева — это его занятие обвинение постаралось изобразить в самом мрачном свете. Бейлис пояснил, что никакого специального обряда выпекания мацы не существует — достаточно присутствия раввина, следящего, чтобы те, кто ее готовит, соблюдали кашрут.

Тем временем свидетельское место занял Адам Полищук, бывший помощник Красовского. Когда-то Красовский доверял ему, но теперь Полищук прилагал все усилия, чтобы добиться для Бейлиса обвинительного приговора. Полищук еще и обвинил Красовского в том, что тот якобы отравил детей Веры Чеберяк пирожными, хотя экспертиза однозначно установила, что они умерли естественной смертью, от дизентерии. Полищук утверждал, что Мендель Бейлис убил Андрея вместе с Файвелем Шнеерсоном, торговавшим сеном и соломой и обедавшим в доме Бейлисов.

Но наиболее сильное впечатление произвел рассказ Полищука об умирающем Жене Чеберяке, за которым он наблюдал по поручению Красовского. Так как первоначальные показания Полищука фигурировали в материалах дела, он не мог лгать относительно этого важного эпизода. Говорил он неохотно, так что защите приходилось вытягивать из него детали. Но даже рассказанная со множеством заминок история произвела жуткое впечатление.

Непосредственно перед самой Чеберяк допрашивали ее единственного выжившего ребенка, одиннадцатилетнюю Людмилу, девочку с каштановыми волосами, заплетенными в две косички, которые доходили почти до пояса. Сходство с матерью обнаруживалось не только в ее больших глазах, темных бровях и длинных ресницах, но и в умении рассказывать сказки. Очевидцы изумлялись странному сочетанию детской невинности и неестественного для столь юного создания хладнокровия, с каким девочка рассказывала страшную историю о том, как вместе с другими детьми ходила на завод Зайцева, где за ними якобы погнались Бейлис и еще два еврея.

Защита уже раньше говорила, что вся эта история — выдумка, поскольку осенью 1910 года руководство зайцевского завода решило положить конец катанию детей на «мяле», обнеся территорию сплошным деревянным забором. Забор оказался предметом бесконечных дискуссий на суде. Защите удалось взять в этом споре верх, но доказать невозможность чего-либо всегда трудно; нельзя было исключить вероятность, что дети нашли в заборе лазейку, поэтому показаниям Людмилы придавали большое значение.

«Катались на мяле, — рассказывала девочка. — Через некоторое время смотрим, сам управляющий заводом, Мендель (свидетели обвинения неизменно повышали

Бейлиса в должности. — Э. Л.), гонится за нами, и еще некоторые гнались за нами». Ее история была умело выстроена (не без помощи матери, а может быть, и обвинения) с таким расчетом, чтобы застраховать девочку от перекрестного допроса. Людмила не утверждала, что своими глазами видела, как Бейлис поволок Андриюшу. Такое заявление сделало бы ее уязвимой для атаки со стороны защиты. По ее словам, она слышала только крик Андрея, потому что ее и других детей прогнали с «мяла». Однако, добавила Людмила, ее младшая сестра Валя — к тому времени уже умершая — видела, как Мендель тащил мальчика: «Она кричит и говорит: Андриюшу, Андриюшу потащили».

Председатель устроил очную ставку Люды и дочери сапожника Наконечного Дуни. Люда утверждала, что, когда евреи погнались за ними, Дуня была вместе с ней. Встав на свидетельском месте рядом с бывшей подругой, Дуня не замедлила уличить ее во лжи. Правда, Люда вовремя заплакала и сообщила, что боится, не пояснив, чего. Прокурор попросил занести это в протокол: он собирал материал для главного тезиса заключительной речи — что евреи либо подкупали свидетелей, чтобы те давали показания в пользу Бейлиса, либо запугивали их, заставляя отрекаться от разоблачительных показаний или молчать.

Вера Чеберяк приблизилась к свидетельскому месту в броской бархатной шляпе с широкими полями, отделанной желто-оранжевыми перьями, над которыми возвышался своеобразный султан из таких же перьев, беспокойно подрагивавший при каждом ее движении.

Чеберяк начала с просьбы, выдавшей одновременно боязнь сказать лишнее и беспокойство. «Будьте добры, прочтите мои показания, — попросила она, имея в виду то, что ранее показывала следователям. — Разве я могу все

припомнить». Она надеялась, что ей помогут избежать противоречий или как можно незаметнее сгладить шероховатости. Но судья не мог удовлетворить ее просьбу. Показания зачитывали только после того, как свидетель начнет говорить, и только в случае, если та или другая сторона отмечала неувязки между версиями. «Что припомните, то и расскажите», — ответил судья Болдырев.

Чеберяк начала хорошо, ее речь лилась ровно и уверенно. Она говорила плавно — но, пожалуй, слишком плавно, слишком гладко. Живо описала центральную сцену: как на кирпичном заводе Бейлис вместе с другими евреями погнался за детьми, как Женя едва спасся, убежав без Андрюши. Рассказ звучал чрезвычайно убедительно, но для передачи с чужих слов казался подозрительно ладно скроенным. (Ведь предполагалось, что она всего лишь передает услышанное от Жени.)

Чеберяк рассказала, как в декабре 1911 года ездила с журналистом Бразулем в Харьков и как Марголин — или кто-то из уполномоченных им лиц — предложил ей сорок тысяч рублей, если она возьмет на себя убийство Андрея, обещая обеспечить отъезд из страны или защиту лучших адвокатов, которые добьются ее оправдания. Обвинение заинтересовалось и другим рассказом Чеберяк: о том, как незадолго до исчезновения Андрея она послала Женю купить у Бейлиса молока, но мальчик якобы прибежал бледный от страха и сказал, что за ним погнались два еврея в странных черных одеяниях, но ему удалось скрыться. Один еврей был старый, другой — молодой и высокий. По словам Чеберяк, сыну показалось, что один из них похож на Шнеерсона, торговца сеном, предполагаемого хасида из знатного рода, а другой — вероятно, отец Шнеерсона. (Когда перед судом предстал сам Шнеерсон, он оказался довольно угрюмым, самоуверенным,

гладко выбритым молодым человеком, совершенно не похожим на одного из описанных Чеберяк гнусных хасидов.)

Когда обвинение кончило допрашивать Веру Чеберяк, Грузенберг перешел к обычному перекрестному допросу, обращаясь к самой, вероятно, опасной свидетельнице без малейшего намека на неприязнь в голосе, почти мягко. Вера Чеберяк выглядела убедительно, пока никто не задавал ей вопросов по существу. Грузенберг начал с самого простого: «Много раз вас допрашивал следователь?» — «Много раз», — отозвалась Чеберяк, но сколько именно, припомнить не могла. Этот диалог определил дальнейшее направление допроса. Грузенберг шаг за шагом подводил ее к ловушке.

Значит, ее допрашивали много раз. Когда же, спросил Грузенберг, она впервые передала Женин рассказ о том, как на заводе евреи утащили Андрюшу? Чеберяк настойчиво утверждала, что впервые сообщила об этом следователю Фененко в июне 1911 года, тем не менее никаких доказательств ее слов найти не удалось.

Обратившись к показаниям от 24 июня, Грузенберг спокойно спросил: «А не сказали ли вы следователю, что Женя *не* пошел [гулять с Андреем]?»

«Не могу припомнить», — ответила Чеберяк.

«Не вызывал ли вас... следователь... еще в июле месяце?» — уточнил Грузенберг.

Тот же ответ: «Я не помню».

Грузенберг попросил председателя назвать даты, когда следователь Фененко допрашивал Веру Чеберяк. Покопавшись в бумагах, председатель ответил: 22 апреля, 24 июня, 11 июля, 26 июля и 3 декабря 1911 года. Грузенберг перебил: «Ваше превосходительство, она была еще допрошена тринадцатого сентября».

«Совершенно верно, — подтвердил председатель, — тринадцатого сентября». То есть всего шесть раз.

Грузенберг попросил судью удостоверить поразительный факт: в 1911 году Вера Чеберяк на всех шести допросах показала, что Андрей приходил и звал Женю играть, но тот не пошел. Из материалов дела было видно, что в первый раз она заявила, что мальчики отправились на завод Зайцева, где за ними погнался Бейлис, 10 июля 1912 года — через четырнадцать месяцев после убийства. Едва ли можно назвать совпадением тот факт, что новую версию Чеберяк озвучила через неделю после того, как Бразуль обвинил ее в причастности к убийству.

Упомянула ли она Менделя Бейлиса хотя бы на одном из допросов в 1911 году?

Как следовало из протокола, на одном упоминала — 26 июля, через четыре дня после их одновременного ареста. (Чуть позже на суде вспомнят о том, что поначалу серьезно рассматривали возможность предъявить им обвинение как сообщникам, но Чеберяк отпустили спустя две недели.) Она заявила следователям, что, если вдуматься, приказчик-еврей и в самом деле вызывает подозрения. Сама Чеберяк, по ее словам, не располагала сведениями из первых рук, но Наталья, тетка Андрея, рассказывала, что ей снилось, как евреи закололи Андрюшу!

Не припомнит ли свидетельница, что рассказывала следователю эту довольно странную историю, где и речи нет ни о Жене, ни о «мяле», ни о евреях с черными бородами? «Как будто говорила, — ответила Чеберяк, — но не помню в точности».

Ловушка захлопнулась. Карабчевский, приступив, в свою очередь, к допросу свидетельницы, приложил все усилия, чтобы Чеберяк уже не смогла из нее выбраться. В противовес своим цветистым речам допросы он вел с изящной

простотой. Муж Веры Чеберяк, Василий, сообщил, что Женя рассказал ему о евреях, погнавшихся за мальчиками на заводе Зайцева и утащивших Андрея, в тот же день — 12 марта 1911 года. Женя, по его словам, запыхался и дрожал от страха. Говорил ли ей муж об этом? Да, ответила она. И она никак не отреагировала, никому не сказала о случившемся? «Я не обратила на это внимания, — был ответ, — не придавала значения».

Карабчевский разумно воздержался от дальнейших расспросов на эту тему, позволив нелепости ответа говорить самой за себя. Даже самый простой крестьянин из присяжных должен был недоумевать: как может мать с таким безразличием отнестись к попытке утешить ее ребенка и к исчезновению его товарища?

Было бы несправедливо подвергать сомнению репутацию Веры Чеберяк как виртуозной лгуньи из-за неудачного выступления в суде. Зал суда был не ее стихией, к тому же за долгое время она успела насочинять слишком много противоречивших друг другу историй, а все они были записаны, и каждая страница показаний заверена ее же рукой. Она объясняла изменения в своих показаниях не иначе как «я говорила со слов Жени» или «я не помню».

Увидев скромную и робеющую Веру Чеберяк, публика почувствовала себя обманутой. Но через два дня ей представился случай на мгновение увидеть и настоящую Чеберяк — когда ее вызвали для очной ставки с мальчиком Назарием Заруцким, которого, как выяснилось, она в комнате для свидетелей учила, что говорить. Мальчик подтвердил рассказ свидетельницы, сообщившей, что Чеберяк настаивала, чтобы он сказал, что гулял тогда вместе с Андрюшей и Женей, хотя это была неправда. «Смотри мне в глаза... Зачем ты на меня врешь!» — взвизгнула Чеберяк. «Мальчик вдруг съехался, — писал репортер. — Его лицо, маленькое, как

яблоко, трусливо замигало и задергалось». Публика наконец увидела женщину, которая привыкла командовать, стращать, запугивать. Защита собиралась было бурно протестовать, но судья Болдырев опередил ее. Как бы он ни симпатизировал обвинению, это было чересчур. «Не смейте запугивать, свидетельница!» — рявкнул он на Чеберяк.

■ «Мы видели убийцу»

Одиннадцатый день суда над Менделем Бейлисом начался необычайно поздно — в половине первого, чтобы присяжные смогли немного перевести дух. В этот день предстояло допрашивать двух экзотических свидетелей обвинения — евреев из Западной Европы: намекали, что эти двое из «людей с черными бородами», то есть не привлеченных к суду пособников убийства Андрея Ющинского. Однако главной фигурой дня оказался не свидетель и даже не человек, а корова Бейлиса. Процесс, с самого начала весьма своеобразный, приобретал все более фантастический характер.

Корова, разумеется, не могла давать показания, но о ней уже были так наслышаны, что ее следовало считать полноправной, даже ключевой участницей процесса. Бейлис купил корову, чтобы обеспечить семью молоком, а продавая излишки, выручал по несколько рублей. Она упала в овраг и сломала ногу. Нога, по-видимому, зажала (пространные свидетельства на этот счет, честно говоря, противоречивы), но корова сделалась для хозяина обузой, требующей постоянных расходов. С приближением зимы кормить ее стало Бейлису не по карману, и, по его словам, в сентябре 1910 года он продал корову, чтобы уплатить долги. Обвинение пыталось доказать, что он лжет.

Спорами о судьбе коровы, занявшими на удивление много времени, суд обязан исключительно Вере Чеберяк. Она заявила, что незадолго до убийства отправила сына Женю за молоком к Бейлису, где он увидел двух евреев, одетых в «странные» длинные черные одеяния. Обвинение утверждало, что эти двое — сообщники Бейлиса. Достоверность рассказа Чеберяк зависела от местопребывания коровы в

марте 1911 года. Обвинение всеми правдами и неправдами старалось доказать, что тогда Бейлис все еще держал корову.

Речь на суде все чаще шла о Вере Чеберяк, изображали ли ее как свидетельницу, чьи обвинения в адрес Бейлиса заслуживают доверия, как лгунью или даже пособницу убийства Андрея. День за днем являясь в суд в неизменной шляпе с трепещущими перьями, она все больше затмевала подсудимого, присутствие которого превратилось, по словам очевидца, в досадную формальность. Даже вопросы, не относящиеся к Чеберяк напрямую, нередко все равно возвращали к ней.

Дискуссия о корове началась со свидетельницы с подходящей фамилией — госпожи Быковой. Настойчивый вопрос: «Свидетельница Быкова, что вы знаете о корове?» — вызвал смех у публики. Свидетельница знала, что к началу 1911 года коровы у Бейлисов не было. Она вспомнила даже, что сама помогала жене Бейлиса, Эстер, снабжая ее молоком. Государственного обвинителя Виппера показания Быковой не удовлетворили.

Следующим был вызван старик Вышемирский, живший в третьем доме от Бейлиса на Верхней Юрковской улице. Вышемирский торговал скотом, и Бейлис на протяжении нескольких лет покупал у него коров, а сам Вышемирский иногда нанимался на завод Зайцева возить кирпичи. Бейлис хорошо знал Вышемирского, доверял ему. Председатель начал с вопроса, что Вышемирский знает о деле. «Ничего не знаю. Знаю только со слов», — ответил тот.

«Со слов кого?» — переспросил судья.

Вышемирский молчал. От него не ждали ничего необычного. Но Бейлис, хорошо его знавший, уловил в его поведении нечто странное. Позднее он вспоминал, что недоумевал, почему Вышемирский так долго собирается с мыслями, и на мгновение ему стало не по себе.

Так с чьих же слов Вышемирскому что-то известно? «Со слов Равич, — пояснил он. — Он мне рассказывал, что его жена как-то зашла в квартиру Чеберяк... что жена его наткнулась на труп в то время, как мальчик был убит».

История, услышанная Вышемирским от своего друга Америка Равича, вызвала всеобщее волнение. Труп в квартире Веры Чеберяк? Откуда взялась эта история? В протоколах предшествующих допросов она ни разу не упоминалась. Взбешенные обвинители поинтересовались, действительно ли показания этого свидетеля — новость для защиты. Защита категорически утверждала, что именно так.

Адель Равич якобы видела завернутое в ковер тело лежащим в ванне у Чеберяков. Ее муж по секрету рассказал об этом Вышемирскому на прощанье — супруги покидали страну. По словам Америка Равича, Вера боялась, как бы власти не заставили его и его жену говорить, — и дала им денег на билеты в Америку.

«Труп в ковре» завладел воображением публики, но, как ни странно, почти не повлиял на ход процесса. Корреспондент «Киевской мысли» полушутя предположил, что рассказ Вышемирского оказался недостаточно изобретательным, чтобы вызвать какую-то реакцию суда, где странности уже носили будничность характер. Обстоятельства были таковы, что обе стороны восприняли это сенсационное заявление как помеху. Было похоже, что Вышемирский, говоривший прямо и неохотно, не лжет относительно услышанного от Равича. Но не сочинил ли сам Равич — или его жена — эту историю? Как бы то ни было, годом ранее супруги и правда внезапно уехали в Америку.

Обе стороны охотно оставили в стороне откровения свидетеля и вернулись к менее опасному вопросу о корове и ее местонахождении в марте 1911 года.

Рассуждения о корове предвляли появление двух евреев из-за границы, Якова Эттингера и Самуила Ландау. Обвинение упорно намекало, что «Эттингер и Ландау» — их неизменно упоминали в паре — и есть те самые «странно одетые» евреи, которых якобы видел Женя, когда ходил к Бейлису за молоком.

Ландау, которому было чуть меньше тридцати, приходился племянником Марку Зайцеву, сыну Ионы Зайцева, основателя кирпичного завода. Эттингер, которому было тридцать с небольшим, оказался шурином Зайцева. Ландау жил в Германии, Эттингер — в Австро-Венгрии.

Зрители, поддерживавшие Бейлиса, встретили их появление еле сдерживаемым смехом. Вид этих двоих являл собой комически разительный контраст к приписываемой им роли. Элегантно одетых молодых людей невозможно было вообразить в обличье происходивших из «знатного рода» фанатичных хасидов в черных одеждах, какими рисовало их обвинение. Они действительно занимали видное положение, но лишь в том плане, что родились в очень состоятельных семьях. Эттингер, не знавший русского языка и объяснявшийся по-немецки через переводчика, был землевладельцем и купцом. Ландау сочинял оперетки. «Эттингер и Ландау» были яркими образчиками ассимилировавшихся западно-европейских евреев. В Киеве, вне естественной среды обитания, они представляли диковинное зрелище. В России эпохи Николая II еврей мог впитать в себя русскую культуру, как О. О. Грузенберг, но не ассимилировался полностью, поскольку евреи, исповедовавшие иудаизм, попросту не могли стать полноценными членами общества. Эттингер же вырос в стране, где евреи активно участвовали в деятельности самых престижных государственных институтов. Что касается Ландау, он уже уютнее чувствовал себя в Берлине, чем в родном Киеве, где официально не имел права гостить у

собственной матери, жившей в модном районе, где евреям, за редким исключением, проживать не разрешалось. (Его мать, вдова богатого купца, обладала таким правом, а он нет.) Приехав в Киев в декабре 1910 года, Эттингер и Ландау оформили в полиции фиктивную прописку, зарегистрировавшись в «еврейских» кварталах, где им дозволено было жить, а на самом деле незаконно проживали у своих родных.

Из показаний Эттингера и Ландау, а также из проверки их паспортов и других документов выяснилось, что, приехав в Киев в декабре 1910 года, оба они уехали в январе 1911-го, за много недель до убийства Андрея. Обвинение потерпело крах: в период, непосредственно предшествовавший преступлению, эти двое никак не могли встретить на своем пути корову Бейлиса, вызвавшую столько споров.

Чувствуя, что у них выбили почву из-под ног, обвинители решили поискать других Эттингеров и Ландау. Вероятно, эти двое — не те, кого суд имел в виду, но у них ведь есть родственники. Защита запротестовала: при желании можно отыскать много Эттингеров и еще больше Ландау. Но обвинение назвало имя Израиля Ландау, и очень скоро выяснилось, что он умер еще в 1903 году. Обвинению снова пришлось растерянно умолкнуть.

Двенадцатый день суда — 6 октября 1913 года — оказался невыносимо скучным. Многие зрители с билетами и даже иные репортеры на несколько часов покинули свои бесценные места. Показания, выслушанные в тот день, были примечательны тем, что напрямую касались вопроса о виновности Бейлиса. Рабочие с завода Зайцева один за другим свидетельствовали, что в день исчезновения Андрея Ющинского работа у них кипела. По территории завода непрерывно сновали люди — таскали кирпичи, кричали, бранились и несли квитанции на подпись Бейлису. Если бы Андрея действительно похитили, это произошло бы среди

бела дня, на глазах у десятков свидетелей. К тому же, судя по количеству подписанных квитанций, подсудимый был занят своей работой.

Тринадцатый день суда. О. О. Грузенберг видел, что прогноз, сделанный им два года назад, подтверждается, но собственная правота не приносила ему удовлетворения. До сих пор процесс шел как нельзя лучше для защиты. Обвинение терпело одну неудачу за другой. Но теперь предстоял суд над самой защитой. Грузенберг предвидел такой поворот событий еще в конце 1911 года, когда убеждал своего коллегу Марголина не вести тайного расследования в отношении Веры Чеберяк. Марголин вместе с горе-журналистом Бразулем-Брушковским угодили в сети, расставленные бесчестной женщиной, поведавшей следователям безумную историю о сорока тысячах рублей за признание в убийстве Ющинского. Вместо того чтобы защищать Бейлиса в суде, Марголин, которого вот-вот должны были лишиться адвокатского звания, сам был вызван в качестве свидетеля. Грузенберг по-прежнему не терял надежды на благоприятный исход дела, но показания Марголина дали обвинению оружие для ответного удара.

Большую часть дня занял допрос Бразуля. Очевидцы сходились на том, что журналист — бесполезный для защиты свидетель; гражданский истец Шмаков поймал его на многочисленных противоречиях, в которых тот увяз. В. Д. Набоков, отметив «несомненную искренность» Бразуля, добавил, что тот выглядит человеком «не вдумчивым, легковерным», которого легко провести. Куда более резко высказался корреспондент *Jewish Chronicle*, назвавший Бразуля «честным и толстокожим любителем повсюду совать свой нос, который вообразил себя великим детективом».

Затем настал черед Марголина. Будучи первоклассным адвокатом, он держался умело. Когда обвинение выясняло

обстоятельства его встречи с Верой Чеберяк в декабре 1911 года в Харькове, Марголин ни разу не противоречил себе. Он подготовился и даже указал на ошибки в показаниях Чеберяк (какая на нем была рубашка, каким было расположение комнат в номере, где он остановился и так далее), выигрывая время и отбивая атаку обвинения. Когда его спросили, предлагал ли он Чеберяк сорок тысяч рублей, если она возьмет на себя убийство, Марголин ответил: «Я думаю, что это мог бы сделать только умалишенный».

«Я спрашиваю, да или нет?» — резко переспросил Шмаков.

«Я этим самым и ответил, что нет. Ведь меня пока освидетельствованию о состоянии моих умственных способностей не подвергали», — отозвался Марголин.

Обвинению все же удалось показать, что Марголин кривит душой, объясняя, почему предпочитал сохранить в секрете свидание в Харькове. Марголин неубедительно утверждал, что никогда не «скрывал» этой поездки, а только «умалчивал» о ней. Было очевидно, что он приложил некоторые усилия, стараясь избежать огласки.

Когда председатель вызвал Веру Чеберяк для очной ставки со свидетелем, она заявила, что узнает Марголина, хотя «тогда он гораздо полнее был». Она повторила свою сказку о сорока тысячах, Марголин ее отрицал. Затем, стоя рядом с Чеберяк, Марголин сказал, почему ее поведение можно было объяснить только причастностью к убийству Ющинского. Зачем известная преступница так старается обвинить других, даже не ища никакого вознаграждения? «Так может действовать только тот человек, — утверждал Марголин, — который обороняется от грозящей ему опасности, который отводит подозрение от себя в сторону других лиц, который желает ввести в заблуждение следственные власти». Когда он закончил говорить, Чеберяк молчала.

Утром четырнадцатого дня суда зал был забит так же, как и шесть дней тому назад, когда для дачи показаний впервые должны были вызвать Веру Чеберяк. Предстоял допрос Николая Красовского, бывшего исполняющего обязанности начальника киевской сыскной полиции, бывшего пристава в уездном городе и бывшего сыщика, который вел расследование убийства Андрея Ющинского. Дело Бейлиса принесло Красовскому оскорбления в праворадикальной прессе, уважение — если не дифирамбы — либеральных журналистов и всемирную известность. В Европе и США репортеры изображали его русским Шерлоком Холмсом, раскрывшим преступление. Но у себя на родине Красовский остался без работы и возможности ее найти.

Этот день принес тем, кто пришел поддержать Бейлиса, хорошие вести. Князь А. Д. Оболенский, бывший обер-прокурор Святейшего синода, осудил попытки обвинить евреев в ритуальных убийствах, заметив, что использование крови противоречит всему учению иудаизма, и назвал ссылки обвинения на Священное Писание «прежде всего кощунством по отношению к христианству». Накануне греческий король Константин, приняв у себя раввинов из Салоников, осудил миф о ритуальных убийствах и пригласил главу делегации на свою яхту, где сказал ему: «Можете заверить все еврейское население, что в моей стране никогда не найдется места для подобной клеветы». За последние дни с публичными заявлениями против обвинения в ритуальных убийствах выступили и несколько православных священников. Но все внимание в зале суда было сейчас приковано к бывшему сыщику.

Сначала Красовский сообщил, как вел следствие по делу Ющинского, — его рассказ длился около четырех с половиной часов почти без остановки, лишь изредка прерываемый вопросами председателя. Говорил он спокойно, точно, не

торопясь. Присяжные, порой слушавшие показания свидетелей рассеянно, на этот раз старались не упустить ни слова. Когда Красовский давал показания, Вера Чеберяк так нервничала, что одному репортеру показалось, что она вот-вот вскочит с места и закричит. Но она всего лишь бегала к окну к графину с водой и залпом пила воду, стакан за стаканом.

Красовский рассказал, с какой неохотой взялся за дело, не сулившее ему ничего, кроме «интриг и неприятностей»; как сначала заподозрил родственников убитого, что и побудило его арестовать отчима Андрея и других членов семьи; как он понял, что ошибся, что родные ни при чем и что, скорее всего, в преступление замешана Вера Чеберяк. После этого открытия Красовскому пришлось бороться с кознями против него самого, так как прокурор Киевской судебной палаты Чаплинский вместе с черносотенцами не давали ему честно вести дело. Он рассказал, как с облегчением вернулся домой в уезд, но по ложным обвинениям его уволили со службы в полиции. Тогда он вернулся в Киев — чтобы «реабилитироваться и это дело довести до конца».

От Красовского присяжные впервые услышали о двух обстоятельствах, указывавших на Веру Чеберяк и ее шайку: «истории с прутиками» и письмах «Христианина». Вместе с «трупом в ковре» и сценой последних минут Жени Чеберяка эти зловещие рассказы легли в основу окутывавших дело Ющинского легенд.

Из этих четырех эпизодов абсолютно правдивым был только рассказ об умирающем Жене Чеберяке. Его подтверждали заслуживавшие доверия очевидцы. Достоверность «истории с прутиками», догадок о письмах «Христианина» и сообщения о «трупe в ковре» вызывали куда большие сомнения.

Обвинение вынудило Красовского признать, что эту историю он слышал из третьих рук — от некоего сторожа, с которым он завязал разговор возле водоразборного крана, а тот, в свою очередь, слышал от некой женщины, она же, по ее словам, слышала от мальчика, известного только как Саша Ф. — того самого, который якобы и наблюдал ссору Жени и Андрея. Этого мальчика Красовскому отыскать не удалось. Это не означало, что вся история — неправда, просто она не поддавалась проверке. Однако велика вероятность, что это был вымышленный рассказ, переданный так называемой сарафанной почтой сразу после того, как пошли слухи, что в убийстве замешаны Чеберяк и ее шайка.

Письма за подписью «Христианин» представляли собой два анонимных послания, полученных матерью Андрея и киевским судебно-медицинским экспертом через несколько дней после обнаружения трупа. Их автор сообщал, что якобы видел мальчика вместе со «старым евреем» примерно в то время, когда произошло убийство. Судья не дал приобщить письма к делу, но разрешил Красовскому остановиться на них подробнее. По словам Красовского, в них весьма точно описывался характер нанесенных ран, хотя оба письма были отправлены еще до того, как было произведено вскрытие. Он полагал, что послание написано одним из членов шайки Чеберяк, Николаем Мандзелевским по кличке Колька-Матросик, «под ее диктовку».

В архивах сохранилось только одно из этих писем — адресованное матери Андрея. В нем число ран не упомянуто. Почерк не принадлежит ни Кольке-Матросику, ни еще нескольким ворам из шайки Чеберяк, образцы почерка которых сохранились. Возможно, в письме к Карпинскому действительно описывались раны. Но даже если описание было точным, в газетах — на что указало Красовскому обвинение — быстро появились вполне достоверные сведения о

количестве ран, не говоря уже о том, что публика могла видеть труп на протяжении нескольких часов, пока его не вынесли из пещеры. Письма производили зловещее впечатление, но доказать связь хотя бы одного из них с убийцами было невозможно.

При агрессивном перекрестном допросе обвинение уцепилось прежде всего за решение Красовского арестовать родных Андрея. Почему он арестовал отчима мальчика Луку Приходько, имевшего надежное алиби? Почему Красовский взял под стражу не только его, но и его престарелого отца и даже дядю Андрея по отцу? Прокурор язвительно поинтересовался, не приходило ли сыщику в голову арестовать заодно и бабушку Андрея. Зачем он распорядился остричь Луку Приходько и покрасить ему волосы, чтобы тот больше походил на человека, которого один из свидетелей видел неподалеку от места преступления? Чем он оправдывает подобные уловки? Красовский отвечал уклончиво и довольно сбивчиво.

В. Д. Набоков, наиболее зоркий из наблюдателей, попытался объяснить поведение Красовского. Чего вообще можно было ожидать от старого полицейского служаки? «Конечно, приемы его безобразны, — писал Набоков в „Речи“, — но где мог Красовский почерпнуть принципы уважения к человеческой личности?» В конце концов, несмотря на все промахи, Красовский предстал как человек, пытавшийся исправить свои ошибки, когда их осознал, и искавший правды там, где, по его мнению, ее надлежало искать.

Когда перед судом предстала молодая белошвейка Екатерина Дьяконова, защитникам показалось, что происходящее в суде все больше напоминает плод воспаленного воображения.

Дьяконова некогда водила дружбу с Верой Чеберяк, и Красовский, подозревая, что она знает о преступлении

больше, чем говорит, обхаживал ее и водил по ресторанам. В конце концов она сообщила сведения, представлявшие полезными. Она заявила, что в день исчезновения Андрея зашла к Чеберяк, где увидела троих из воровской шайки, странно метавшихся по квартире и, когда она вошла, поспешно набросивших пальто на нечто, лежавшее в углу. Она и ее сестра Ксения заметили, что клочки бумаги с проколами, найденные рядом с телом Андрея, очень похожи на те, что использовались у Чеберяк для игры в «почту». Из показаний Екатерины Дьяконовой следовало, что вышитая наволочка, клочок которой обнаружили у Андрея в кармане, принадлежит Чеберяк.

Показания о бумаге и наволочке заняли много времени. Если бы было установлено, что эти предметы взяты из квартиры Чеберяк, они послужили бы вещественными доказательствами ее причастности к убийству. Но, хотя рассказ Дьяконовой наводил на мысль о такой связи, он был удручающе непоследовательным.

Однако Екатерина Дьяконова не только это могла поведать суду. Она сообщила, что имела три продолжительных беседы о деле с таинственным незнакомцем в маске. Их разговоры длились часами и происходили, как следовало из ее рассказа, где-то на улице. Во время одной из таких встреч незнакомец якобы сказал ей, что им надо убить Красовского, жандармского подполковника Иванова и следователя Фененко. Почему человек в маске заговорил с Дьяконовой об этих людях, она объяснить не могла. Карабчевский предпринял отважную попытку несколько сгладить фантастичность ее рассказа. «Случалось вам когда-нибудь видеть тех людей, которые летают на аэропланах или ездят на мотоциклетах?» — с надеждой спросил он. Может быть, незнакомец носил как раз такую маску? Нет, ответила она, это была черная гладкая маска, плотно прилежавшая к

лицу и державшаяся за счет шапки с наушниками, которая застегивалась под подбородком.

Затем Дьяконова рассказала, как на следующий день после убийства Андрея Чеберяк попросила Екатерину остаться у нее ночевать. Они спали в одной комнате, и ночью Екатерина просунула ногу в одном чулке сквозь решетку кровати. Она почувствовала, что в углу стоит что-то завернутое в тряпки. На ощупь предмет был совершенно ледяным. Утром загадочный предмет в углу исчез.

Еще Дьяконова заявила, что слышала от Адели Равич о завернутом в ковер трупe, а еще прежде видела его во сне и поделилась этим с Чеберяк, которая якобы стала ей угрожать и требовать, чтобы она молчала.

Слушая девушку час за часом, даже здравомыслящие журналисты чувствовали, что их недоверие постепенно отступает. Один из репортеров признавался: «Странное дело: чем дальше, тем больше ей верили». Другой отмечал, что, пусть рассказанное ею «сплошь из области психоза, близкого к галлюцинациям», производит она «безусловно искреннее впечатление».

Но если молодой женщине в какой-то мере удалось очаровать опытных журналистов, какое впечатление она произвела на присяжных из крестьян, которые могли считать домовых и прочих духов из народных поверий частью повседневной жизни? Может быть, и они проникнутся доверием к ее сказкам. В конце концов, кто докажет, что она лжет?

День шестнадцатый. Все с напряжением ждали показаний молодого революционера Сергея Махалина. Караев и Махалин оба утверждали, что присутствовали при признании Сингаевского в убийстве мальчика, но в суд вызвали только Махалина. Власти позаботились, чтобы Караев, находившийся в сибирской ссылке, не появился в зале

суда. Показания Караева огласили на заседании, но убедительность истории зависела только от Махалина.

Грузенберг не знал, насколько Махалин уязвим как свидетель и к каким губительным последствиям может привести его выступление. Адвокат не знал, что Махалин — осведомитель, работавший на два отделения тайной полиции, где его знали под кличками Депутат и Василевский. Если бы это обстоятельство открылось, обвинению ничего не стоило бы выставить Махалина беспринципным наемником. Пока Махалин готовился давать показания, чиновники в правительственных кругах спорили, следует ли разоблачить его и тем самым повысить шансы обвинения.

Умышленное публичное разоблачение агента казалось почти немыслимым. Но гражданский истец и депутат Думы Замысловский, каким-то образом узнав о прошлом Махалина, требовал предать огласке столь ценную для обвинения информацию. Он грозил поставить тайную полицию в неловкое положение, если его требование не удовлетворят. Замысловский сообщил Белецкому, директору Департамента полиции, что в случае неблагоприятного для обвинения исхода дела он на заседании Думы возложит ответственность на тайную полицию, заявив, что ее подкупили. Н. А. Маклаков, министр внутренних дел, ультраконсервативный брат адвоката Бейлиса В. А. Маклакова, тоже настаивал, что Махалина надо разоблачить в суде как секретного агента, от услуг которого годом ранее отказались из-за махинаций с деньгами, выдаваемыми ему на расходы. (Обвинение в мошенничестве было, кажется, ложным, сфабрикованным ради дискредитации Махалина в суде: в архивах не сохранилось никаких подтверждающих его документов.) Жандармский подполковник Павел Иванов, которому предстояло давать показания через три дня, должен был сделать заявление о секретной деятельности Махалина.

В остальном Махалин оказался настоящим подарком. Хотя не так давно он получил скромное наследство и выглядел франтом, говорил он, по словам Набокова, «с убийственной простотой и находчивостью». В его словах ощущались «убежденность и здравый смысл». Обвинению не удалось его подловить. Более того, Махалин произвел впечатление человека глубоко нравственного. Он рассказал, как в четырнадцать лет ему пришлось наблюдать погром в Смеле, определивший его убеждения. Когда Махалин услышал о деле Ющинского, он понял, какую волну ненависти оно способно поднять. Он задался целью найти настоящих убийц, оправдать невинного и предотвратить массовое избиение.

Один из репортеров отмечал, что на процессе наблюдалось необычное распределение ролей: если Мендель Бейлис был всего лишь «подсудимым», то Петр Сингаевский — «обвиняемым». Сингаевский, как и его предполагаемый сообщник Борис Рудзинский, тоже из шайки Чеберяк, давал показания на восемнадцатый день суда, через день после того, как Махалин кончил свой рассказ. И Сингаевского, и Рудзинского привезли в Киев из Сибири, где они отбывали наказание за вооруженный грабеж. Первый, безусловно, был особенно важным свидетелем, так как Махалин утверждал, что Сингаевский в его присутствии сознался в убийстве.

Сингаевского препроводили в зал суда, а затем к свидетельскому месту под конвоем; двое конвоиров встали за его спиной, двое — спереди. Очевидцы говорили, что он производил впечатление совершенного тупоумия.

Вера Чеберяк опустила голову и тихо заплакала — трудно сказать, от искреннего сострадания к единоутробному брату или от страха за себя. Публика заметила перемену в ее внешности и поведении. Самоуверенность покинула ее, Чеберяк больше не щеголяла в бархатных шляпах с яркими перьями. Теперь ее голову покрывал простой черный платок.

Показания брата привели ее в еще большее волнение, чем раньше, и походы к окну за водой участились.

У Сингаевского не было алиби на время убийства Ющинского, но он предпринял комичную попытку его сострять. Годом ранее он вместе с Рудзинским сознался, что в ночь на 12 марта 1911 года — когда пропал Андрей, — они грабили оптический магазин в Киеве. Не моргнув глазом, они заявили, что сознались в краже, чтобы доказать, что не могли совершить убийство. Но Андрея убили утром, а значит, у них было достаточно времени для другого преступления. В первых отчетах, опубликованных в газетах, иногда ошибочно указывали, что убийство произошло вечером, поэтому воры надеялись, что ограбление их оправдает. И скорее всего, лгали относительно участия в краже, потому что обвинений в этом преступлении им так и не предъявили.

Грузенберг вел перекрестный допрос сдержанно, без обличительных интонаций. С резкой прямолинейностью спросил: «Почему вы думаете, что если в ночь с двенадцатого на тринадцатое вы украли, то это значит, что утром часов в десять или одиннадцать нельзя было убить?» Сингаевский растерялся. Сначала он ничего не ответил. Потом заявил, что в это время находился дома со своим товарищем Иваном Латышевым (Ванькой Рыжим), которого уже не было в живых, так как несколько месяцев назад он то ли выбросился, то ли выпал из окна полицейского участка. Было очевидно, что алиби у Сингаевского нет. И почему Сингаевский, Латышев и Рудзинский втроем уехали из Киева в Москву на другой день после убийства? При этом он признал, что у них не было ни гроша и им пришлось занимать, чтобы купить билеты.

«У вас денег нет, вы совершили втроем кражу, положили [краденые] вещи в один чемодан, зачем всем троим ехать в Москву, не имея денег?» — спросил Грузенберг.

«Я пожелал посмотреть Москву, потому что никогда не бывал», — отозвался Сингаевский.

Когда у защиты больше не оставалось вопросов, судья Болдырев, указав на место рядом с Сингаевским, позвал: «Махалин, подойдите сюда». Все затихли в ожидании очной ставки. Председатель спросил Сингаевского, знает ли он человека, который стоит рядом с ним. После очень продолжительной паузы Сингаевский ответил: «Да».

Но неизгладимое впечатление на присутствующих произвели не слова Сингаевского, а выражение его лица в минуту, когда он увидел перед собой своего обличителя. Разумеется, если человек изменился в лице, это еще не доказывает, что он виновен. И все же тех, кто наблюдал очную ставку, она потрясла. В газетах писали: «На лице Сингаевского... был прямо животный страх», «в тот момент, когда Сингаевский увидел Махалина... лицо Сингаевского до такой степени преобразилось и на нем было написано столько ужаса, что становилось жутко».

Было слышно, как, выходя в перерыве из зала суда, многие говорили: «Мы видели убийцу».

«Господа присяжные заседатели!»

В девятнадцатый день процесса публика предвкушала разглашение секретных сведений. Этот день сулил нечто особенно увлекательное: историю о шпионах — с двойными агентами, вероломством, провокаторами и эффектной обличительной тирадой одного свидетеля в адрес другого, которому нечего возразить. Восемнадцатый день суда нанес серьезный удар по обвинению, однако в кулуарах поговаривали, что все не так, как кажется, и что предстоит полный разгром защиты.

На утреннем заседании должен был давать показания подполковник Павел Иванов, который вел расследование дела об убийстве Андрея Ющинского со стороны жандармского управления. Неужели он действительно разоблачит революционера Махалина? Если да, то он дискредитирует важного свидетеля защиты, утверждавшего, что ему удалось вырвать признание у одного из настоящих убийц Андрея.

Набоков, бывший депутат Государственной думы, видный юрист и один из основателей Конституционно-демократической партии, не питал иллюзий относительно интриг властей. Он сам однажды отсидел в тюрьме три месяца за антиправительственную деятельность. Но мысль, что одни представители власти борются с другими ради какого-то театрального эффекта, казалась ему «фантастической» и «невероятной». Набоков ошибался. Гражданский истец и депутат Думы Г. Г. Замысловский грозил неприятностями тайной полиции и всему Министерству внутренних дел, если они не согласятся открыто разоблачить Махалина в суде как бывшего агента. Как видно из документов, государственный прокурор Виппер поддерживал своего коллегу.

Однако прежде чем Иванов займет свидетельское место и подтвердит — или нет — слух, суду пришлось выслушать показания еще одной свидетельницы о корове подсудимого. Обвинение допросило Екатерину Маслаш, торговку фруктами, которая твердо заявила, что весной 1911 года коровы у Бейлиса не было. После еще одного свидетеля, которому нечего было сказать, Вера Чеберяк в скромном платке вместо шляпы вернулась для очной ставки с журналистом Яблоновским, который, как она теперь утверждала, и предложил ей сорок тысяч. Яблоновский заявил, что даже не присутствовал при пресловутом свидании в Харькове.

Наконец председатель вызвал подполковника Иванова.

За три дня до этого высшие государственные чиновники разрешили Иванову разоблачить своего бывшего агента Сергея Махалина. Директор Департамента полиции Степан Петрович Белецкий и министр внутренних дел Николай Алексеевич Маклаков дали свое согласие. Однако тайная полиция, не желая выставлять на всеобщее обозрение свои источники и методы работы, вынудила Замысловского взять свой ультиматум назад. В жандармском управлении указали на то, что, публично разоблачив одного агента, будет труднее вербовать других, и сделали соблазнительное контрпредложение: вместо того чтобы дискредитировать одного свидетеля, Иванов покажет на суде, что все они — Махалин, Караев, Бразуль и Красовский — подкуплены евреями. Иванов заявит, что располагает доказательствами о средствах, выделенных евреями на так называемое частное расследование, участники которого обвиняли Чеберяк и ее шайку. За день до того, как Иванов должен был давать показания, Замысловский отозвал свое требование разоблачить Махалина как осведомителя. Иванову было куда проще заявить, что последний, как и все его соратники, — орудия еврейского заговора.

Защитники не верили слухам, что Иванов заодно с обвинением, и с надеждой ожидали, что его показания принесут пользу. Они знали, что Иванов считал Бейлиса невиновным. Иванов был человеком, стремившимся поступать правильно. Он рекомендовал полиции арестовать Веру Чеберяк и воров из ее шайки по обвинению в убийстве Ющинского. Он подсадил в камеру к Бейлису осведомителя Козаченко, но он заставил Козаченко признаться, что тот солгал, когда говорил, что Бейлис предлагал деньги за отравление свидетелей. Когда клевету Козаченко включили в текст обвинительного акта, Иванов сообщил правду Дмитрию Пихно, уважаемому консервативному редактору и издателю газеты «Киевлянин», противнику «ритуальной» версии. Защита знала об этом разговоре и рассчитывала, что Иванов и теперь скажет правду.

Однако в суде Иванов отрицал даже, что встречался с Пихно. Редактор к тому времени уже умер и не мог опровергнуть его слова. Отвечая на простые вопросы о том, с кем он беседовал и что именно сказал, Иванов то и дело отговаривался тем, что запамятовал: «не помню», «точно не могу припомнить те разговоры, которые были два года тому назад», «этого не помню».

Присяжные едва ли обратили внимание на уклончивость Иванова, зато обвинение несомненно было заинтересовано в том, чтобы оказалось, что независимое расследование произведено на деньги евреев. И Иванов это подтвердил.

Бразуль якобы получил по меньшей мере три тысячи рублей. Тайного финансирования якобы хватило даже на то, чтобы оплатить тому лечебную поездку в Крым после завершения расследования. Караев же и Махалин, по его словам, ежедневно получали по пятьдесят рублей. Платили, заявил он, и Красовскому, но сколько именно — он сообщить не мог. Когда Иванова спросили об источнике этих средств, он

ответил туманно, упомянув, однако, помощника присяжного поверенного по фамилии Виленский, коллегу первого адвоката Бейлиса — Арнольда Марголина.

Грузенберг и другие адвокаты были ошеломлены. Карабчевский, ошарашенный показаниями Иванова, настаивал, чтобы тот раскрыл источник сообщенных сведений. «Мы должны вам поверить на слово и не имеем возможности проверить?» — осведомился он. Поручившись за «достоверность» и «безошибочность» источника, Иванов тем не менее ответил, что «в силу своих служебных обязанностей» назвать его не может.

Грузенберг был взбешен. Ни один свидетель не вправе утаивать сведения от суда. Адвокат продемонстрировал свойственные ему порой несдержанность и горячность, которые были на руку его противникам. Намекая, что человек, состоящий на государственной службе, лжет, Грузенберг грубо нарушил этикет и рисковал получить дисциплинарное взыскание. Судья Болдырев объявил перерыв и предупредил Грузенберга, что за еще один такой выпад ему грозят «крайние меры».

Обвинение постоянно возвращалось к вопросу о секретном вознаграждении, полученном Бразулем, Красовским и другими. Рассуждения обвинителей выглядели небезосновательными. Может быть, Марголин или другие состоятельные представители еврейской общины и впрямь снабжали детективов-любителей деньгами? Ведь Красовский и Караев нигде не работали. У Махалина, до получения наследства дававшего частные уроки, не было свободных денег. Бразуль утверждал, что большей частью финансировал это предприятие из собственного кармана, тратя жалованье, которое ему платили как сотруднику газеты, но его заявление не внушало доверия. Откуда они взяли деньги на поездку в

Харьков и на то, чтобы водить по ресторанам Веру Чеберяк и сестер Дьяконовых?

Из тех, кто писал о процессе, Набоков, по-видимому, первым вынес решительное суждение по поводу предполагаемого источника средств. «Я считаю, что состоятельные люди среди евреев были не только вправе тратиться на частные розыски, но это было их нравственной обязанностью», — прокомментировал он на следующий день показания Иванова. Если евреи дают средства на розыски, чтобы спасти своего несправедливо обвиненного собрата, «это не только не заслуживает осуждения, а как раз наоборот».

Подполковник Иванов был последним свидетелем, вызванным для выяснения касающихся дела обстоятельств. Далее следовали эксперты, производившие медицинский, психиатрический и богословский анализы. В одном из ежедневных рапортов чиновник Департамента полиции рассуждал: «...Вообще улики против Бейлиса очень слабы, но обвинение поставлено прилично; серый состав присяжных может обвинить ввиду племенной вражды».

На двадцатый день зал суда почти опустел: судьи зачитывали отчеты о вскрытии и длинные, усыпляющие протоколы осмотра вещей. Воцарилась торжественная, как на похоронах, атмосфера. Бейлис, присяжные, представители защиты и обвинения, эксперты сидели почти неподвижно. Степан Кондурушкин, корреспондент «Речи», сравнил заседание с чтением псалтыри над покойником.

...Веки глаз покрыты засохшей глиной, уши и нос целы, наружные слуховые проходы, ноздри и губы покрыты засохшей глиной, рот закрыт, зубы целые...

...Шпагат обмотан кругом вокруг правого лучезапястного сочленения и связан в узел, затем им была

протянута левая рука в том же сочленении крестообразным оборотом и затем обе руки стянуты двумя оборотами и завязаны узлом.

...Кальсоны. Детские, белого холста, в синюю полоску. На правом конце пояса имеется одна петля. На левом конце — пуговица отсутствует... Края переднего разреза кальсон пропитаны буро-красным веществом, по видимому, кровью.

Сравнение с похоронным обрядом было метким: протоколы монотонно читали над останками жертвы. На столе перед судебским местом стоял похожий на гроб ящик с банками, в которых помещались законсервированные органы. Патологоанатомы объяснили, что можно открыть банки для осмотра содержимого: проколотых легких мальчика, печени, правой почки, части мозга и главной цели последних нанесенных ему ударов — сердца.

После двухдневного предисловия слово наконец дали профессору Дмитрию Петровичу Косоротову, судебному медику. Вместе с психиатром Иваном Алексеевичем Сикорским и католическим священником Иустином Пранайтисом Косоротов был вызван, чтобы продемонстрировать ритуальный характер убийства Андрея Ющинского.

После смерти профессора Н. А. Оболонского, который первоначально должен был выступить в роли медицинского эксперта, обвинение обратилось к профессору Косоротову, любезно подтвердившему, что раны Андрея «нанесены с намерением получить возможно больше крови для каких-либо целей», — вывод, которого до него ни один медик не хотел формулировать столь явно. Однако по мере приближения суда Косоротов доставлял обвинению все больше хлопот. Слушание дела, жаловался он, отнимет слишком много времени. Санкт-Петербургский университет, где он преподает, урежет его жалованье. Официальной

компенсации, предоставляемой государством свидетелю, ему было недостаточно.

Профессор понимал, как нужен правительству в этом деле, и решил этим воспользоваться. Обвинение направило в Петербург сигнал бедствия, достигший министра юстиции Щегловитова и министра внутренних дел Маклакова, согласившихся выплатить профессору дополнительную компенсацию.

За шесть дней до суда Косоротова посетил Белецкий, директор Департамента полиции. При себе у него были четыре тысячи рублей, выделенные из десятиmillionного секретного фонда, откуда царское правительство выделяло деньги на издержки, не упоминаемые в государственных приходно-расходных книгах. Белецкий, боясь оскорбить профессора излишней прямолинейностью, начал с льстивых заверений: участие Косоротова в этом историческом деле бесценно. Однако профессору не нужны были учтивые предисловия. Стороны быстро договорились о цене — четыре тысячи рублей, ровно столько, сколько оказалось с собой у Белецкого. Но поскольку гражданский истец Замысловский велел выплатить только половину назначенной суммы, а остальное выдать в случае, если обвинение найдет показания удовлетворительными, Белецкий вежливо спохватился, что у него при себе, к сожалению, только две тысячи. И твердо обещал профессору, что остальное тот получит перед отъездом, когда кончится процесс.

Косоротов не разочаровал своих благодетелей. Из всех выслушанных до сих пор свидетелей обвинения он говорил наиболее связно. «Если бы этого человека хотели только убить, — объяснил он присяжным, — то взяли бы и ударили камнем по голове, и он был бы уже мертв». Орудия шилом, «убийца мог бы сразу вонзить его в сердце», что привело бы к мгновенной смерти. Но убийцы этого не сделали, а значит, по

мнению Косоротова, цель заключалась не в убийстве как таковом, а в «причинении мучений и поранении в таких местах, которые преимущественно обладают кровью».

Профессор сделал жест рукой в сторону банки с препарированным сердцем Андрея. В нем оставалось лишь два маленьких сгустка крови величиной с горошину. «Вот вся кровь, которая имелаась в сердце Ющинского», — заявил Косоротов. По количеству крови во внутренних органах и на основании результатов двух вскрытий он заключил, что Андрей потерял более половины крови. Преступники, утверждал Косоротов, вероятно, собирали кровь из ран справа от шеи, где кровотечение было обильным.

Затем наступил черед медицинских экспертов, приглашенных защитой. Профессор Евгений Васильевич Павлов, носивший почетное звание лейб-хирурга, и профессор Александр Александрович Кадыан, оба из Петербурга, обладали куда большим авторитетом в медицинских кругах, чем Косоротов. Они не сомневались, что с первого же удара убийцы — они были согласны, что преступник действовал не в одиночку, — намеревались именно убить. Вот почему начали с головы — с ударов, пробивших череп и повредивших мозг. В сердце, пояснили они, трудно нанести точный удар, о чем наглядно свидетельствовал труп Ющинского: из восьми колотых ран в области сердца лишь три удара попали в цель. Профессор Павлов отметил, что законсервированные органы уже совершенно не в том состоянии, в каком находились в момент смерти; большую часть крови из них выжали при вскрытии, еще часть постепенно вымывалась после погружения в раствор формалина. Собственно, экспертиза показала, что крови, несмотря на ее значительную потерю, в венах оставалось много, ткани были окрашены в розовый цвет и ни один орган не был обескровлен.

Оба медика ясно дали понять, сколь абсурдна мысль, что мальчика убили, чтобы собрать его кровь. Даже человек, не разбирающийся в анатомии, понимает, что кровь проще всего добыть, вскрыв сосуд, расположенный близко к коже. Профессор Кадыян объяснил: «Для того чтобы получить кровотечение на руке, надо сделать ранение и опустить руку вниз, тогда кровь будет течь; точно так же, если сделать разрез на ноге, на вене, кровь будет течь». Кроме того, задавшись такой целью, естественно выбрать в качестве орудия нож, которым можно сделать глубокий надрез, а не шило, которым получится только колоть. Вскрыть артерию или вену, нанеся колотую рану, способна только опытная рука. Обычный человек, даже если поставит перед собой такую задачу, скорее отодвинет шилом сосуд, чем проткнет его. Как бы то ни было, подчеркнул Кадыян, ни одна рана не пришлась на крупную артерию или вену.

К тому же, чтобы собрать кровь из головы — версия, на которой настаивал Косоротов, — убийцам пришлось бы перевернуть мальчика вниз головой. «...Наносить раны на голове, на самой верхней точке тела... чтобы получить кровь — это для меня нонсенс», — заключил профессор Кадыян. Раны на шее вызвали главным образом внутреннее кровоизлияние. Количество ран, без сомнений, никак не помогло бы собрать кровь, скорее наоборот. Удары, повредившие жизненно важные органы, шею и череп, были явно нанесены с целью убить. Еще две дюжины ран нанесены без какой-либо определенной цели и указывают, в каком исступлении находились убийцы. По всем признакам, убийство совершено под влиянием момента, тем орудием, которое «попалось под руку».

Предпоследним свидетелем обвинения был Иван Алексеевич Сикорский, почетный профессор психиатрии Киевского университета Святого Владимира. Если бы не

Сикорский, Менделю Бейлису почти наверняка не предъявили бы обвинения в ритуальном убийстве. Как мы помним, когда после убийства Ющинского власти обратились к Сикорскому с просьбой изучить протоколы осмотра и высказать мнение о личности убийцы или убийц, Сикорский дал экспертное заключение: «психологической основой» убийства являлось «расовое мщение и вендетта сынов Иакова». Это страшное преступление, утверждал профессор, принадлежит к числу типичных убийств детей, какие евреи совершают уже не одно столетие.

Сикорский был самым авторитетным из всех приглашенных обвинением свидетелей. Его можно было назвать ученым с мировым именем — по крайней мере до его участия в деле Бейлиса: после суда коллеги на родине и в Западной Европе ополчились против него, осуждая человека, принесшего профессиональную честь в жертву предрассудкам и религиозной вражде.

Болезнь профессора Сикорского весной предшествовавшего года послужила причиной первой отсрочки суда, едва не лишившей Бейлиса рассудка. Прошло полтора года, и в зал суда на двадцать четвертый день заседания Сикорский явился старым больным человеком. В зале присутствовал его личный врач, готовый оказать ему помощь, а давать показания Сикорскому разрешили сидя. Набоков отметил, что профессор «по-видимому, находится в состоянии умственного расслабления», — и многие разделяли его мнение.

Сначала профессор говорил более или менее связно. «Убийство Андрея Ющинского, — начал он, — отличается от обыкновенных убийств, но оно чрезвычайно сходно с теми особенными убийствами, которые совершались редко, но которые наблюдались время от времени и даже до самого последнего времени. Это так называемые убийства детей

посредством выпускания из них крови при жизни». Он указал на ряд «второстепенных признаков», сближающих убийство Ющинского с другими преступлениями такого рода: время года, когда совершено убийство; возраст жертвы; тело, оставленное на месте преступления; наконец, число ран. Как утверждал Сикорский, число ран в таких случаях часто кратно семи, «то есть четырнадцать, двадцать один, двадцать восемь и до сорока девяти». По официальным данным, на теле Андрея было обнаружено сорок семь ран — иначе говоря, «приблизительно» сорок девять. Противореча остальным экспертам, даже вызванному обвинением Косоротову, Сикорский заявил, что убийцы Андрея резали и выпускали кровь искусно, со знанием анатомии. Наконец, для таких преступлений характерно, что вслед за ними «появляется какая-то неведомая рука — еврейский заговор, — которая старается направить следователя на ложный путь». Убийства детей, совершаемые «сообщничеством убийц» этой нации, подчеркнул Сикорский, «не выдумка, не миф, не воображение средних веков, а... самая действительная реальность, уголовная реальность двадцатого века».

Постепенно профессор уклонился от темы. «Эти капиталы, — он подразумевал деньги евреев, — швыряются на то, чтобы преследовать учителей. Тем, кто хочет бороться с этим злом, приходится бороться с громадными денежными силами». Председатель попросил Сикорского оставаться в рамках психиатрической экспертизы, но свидетель не унимался: «Талмудизм, еврейский капитализм, еврейская пресса все вооружается, соединяется для борьбы с учителями».

Дмитрий Григорович-Барский открыл огонь со стороны защиты. «Ведь это уже не экспертиза», — заявил он. Судья еще раз предупредил профессора, чтобы тот ограничивался соображениями психиатрии, но тщетно. Через несколько

минут к председателю обратился Карабчевский: «Мы протестуем против всего этого».

Замысловский, не упуская случая спровоцировать защиту, закричал: «Слуги еврейства!»

«Мы служим правосудию, а не еврейству», — отозвался Карабчевский.

В очередном рапорте полицейский агент докладывал в Петербург: «Экспертиза Сикорского, по сообщению жандармов, произвела на присяжных сильное впечатление, убедив их в существовании ритуальных убийств». Но тот же агент указал и на тревожный симптом. Передавали, что они якобы говорили между собой: «Як судить Бейлиса, коли разговоров на суде о нем нема?»

Суд приближался к концу, но на протяжении последних трех дней имя Менделя Бейлиса не упоминалось ни разу. С помощью экспертов, рассуждавших о еврейской религии и ее связи с ритуальными убийствами, обвинение надеялось убедить присяжных, что убийства, подобные убийству Ющинского, существуют и уходят корнями глубоко в еврейскую историю и теологию.

Последним свидетелем обвинения и единственным предполагаемым экспертом по иудаизму был Иустин Пранайтис, ксендз из Ташкента. Обвинение позаботилось ознакомить присяжных с одним из текстов, на которые он опирался, — «Книгой монаха Неофита», написанной, как считалось, в Румынии в начале XIX века. О себе ее автор рассказывал, что он по рождению еврей, но крестился и принял монашеские обеты под именем Неофит. По его словам, ему досконально были известны тайные ритуалы соплеменников. В протокол вошли пространные отрывки из «Книги Неофита», зачитанные на суде:

...Проклятие дано на них [евреев] пророком Моисеем, который говорит: «Поразит тебя Господь вередом египетским в седалище, коростю дикою и чесоткой, так что ты не сможешь излечиться. Отсюда мы ясно видим, что это проклятие исполнилось на еврейском народе, так как все европейские евреи имеют коросту на седалище, все азиатские имеют на голове паршу, все африканские имеют чирьи на ногах, а американские имеют болезнь глаз, то есть страдают трахомой, вследствие чего безобразны и глупы. Вселукавые раввины нашли врачебное средство в том, что помазываемые христианской кровью будут исцеляться.

По словам Неофита, желание евреев истреблять христиан обусловлено тремя причинами:

а) чрезвычайной ненавистью, которую они имеют к христианам, предполагая, что, совершая такое убийство, они приносят жертву Богу... б) многочисленными суевериями, именно магическими действиями, которые евреи совершают с самою кровью, в) а также тем обстоятельством, что раввины колеблются, не были ли Иисус Сын Марии, истинным Мессией, и — что, окропляясь сказанной кровью, они спасутся.

В. А. Маклаков, адвокат Бейлиса, считавшийся в Думе одним из лучших ораторов, заранее знал о чтении «Книги Неофита» и все же не сразу нашелся, как реагировать на явную бессмыслицу. Он с насмешкой зачитал несколько фраз из текста и, обращаясь к присяжным, язвительно произнес: «Вот места из этого ученого сочинения, на которых строится, между прочим, обвинение». Если присяжные не увидят, что этот текст сам себя опровергает, что еще остается защитить?

Иустин Пранайтис, гладко выбритый пожилой человек в черной сутане, с густым ежиком седых волос, говорил очень тихо, время от времени с омерзением бормоча: «Истребление

христиан есть главная цель существования евреев-талмудистов. К этой цели направлены все молитвы, все деяния...» Однако такие проблески красноречия составляли редкое исключение в его хаотичной речи, занявшей одиннадцать часов. Пранайтис читал лекцию с отсылками к еврейским текстам (Талмуду, Гемаре, Мишне, Тосефте, Зоару, кодексу «Шульхан Арух»), к таким фигурам, как древнееврейский историк Иосиф Флавий и Баал-Шем-Тов (родоначальник хасидизма), к современным христианским защитникам евреев. Судья Болдырев с раздражением несколько раз просил Пранайтиса сократить экспертное заключение, но ничто не могло его остановить.

Обвинение само было виновато в отступлениях Пранайтиса, доведивших слушателей до отчаяния: ему предложили двадцать девять богословских вопросов, в том числе совершенно невразумительных (например, вопрос девятнадцатый: «Какие разоблачения сделали франкисты по поводу человеческих жертвоприношений у евреев на диспуте в Львове (1759)?»). У Пранайтиса оказалось лишь одно соображение, непосредственно относящееся к убийству Андрея Ющинского: он заявил, что тринадцать ран на правом виске мальчика символизируют слово «эхад» (в переводе с иврита — «единый», как во фразе «Бог един»), обозначаемое в каббале числом тринадцать.

Почему бы, настаивала защита, не исходить из *общего* числа ран. Более того, на правом виске Андрея, скорее всего, было в общей сложности не тринадцать, а четырнадцать ран. На фотографии, сделанной при вскрытии, на первый взгляд можно было различить тринадцать ран, но, как показали приглашенные защитой эксперты, при внимательном рассмотрении было видно, что одна из ран двойная — убийца дважды ударил почти в одно и то же место. Даже Косоротов,

эксперт со стороны обвинения, признавал, что ран действительно вполне может быть четырнадцать.

Как только Пранайтис отступал от заранее подготовленного заключения, он совершенно терялся, причем его растерянность обнаружилась, когда его начали допрашивать сами обвинители. Шмаков задавал вопросы, нередко приводя объемные цитаты, а Пранайтис неизменно отвечал: «Не знаю», «Не помню», «Не могу сказать» — или молчал. Невнятные ответы свидетеля начинали явно злить Шмакова. Зрители, поддерживавшие Бейлиса, заулыбались, иногда даже раздавались взрывы хохота.

У защиты лучше получилось разговорить эксперта. Пранайтис упомянул жившего в XVIII веке крещеного еврея Серафимовича, заявлявшего о ритуальных убийствах христиан. «Не будете ли вы добры сказать, — спросил Грузенберг, — нет ли у него такого места, в котором говорится, что [евреи] из [христианского] ребенка выпустили кровь, белую, как молоко?»

«Да, — подтвердил Пранайтис, — это есть, а отчего она белая — это другой вопрос».

Карабчевский подхватил эстафету, перейдя к вопросу о средневековых судебных процессах, связанных с ритуальными убийствами: «Как производились эти процессы — при наличии пыток?»

«Да, были сильные пытки, — ответил Пранайтис. — Про эти пытки можно много говорить, но все-таки через них узнавалась правда. Конечно, это не хорошо, но раз человек не сознается, надо пытать».

Бенцион Кац, редактор единственной российской газеты на иврите «Ха-Цеман» («Время»), предложил Карабчевскому способ дискредитировать Пранайтиса. Он знал, что ксендз невежествен и нечист на руку. В своих книгах «Христианин в Талмуде еврейском» и «Тайна крови у евреев» он копировал

тексты других псевдоученых-антисемитов, причем вместе с опечатками. Вот почему он с таким трудом отвечал на самые простые вопросы.

Кац был уверен, что Пранайтис не имел ни малейшего представления о семитских языках. Он предложил доказать несостоятельность Пранайтиса. Пусть защитники попросят эксперта перевести названия им же упомянутых разделов и трактатов Талмуда, а потом зададут ему вопрос, который наглядно продемонстрирует его невежество.

«Он может ответить правильно, и тогда ваша уловка выйдет нам боком», — возразил Карабчевский. Грузенберг с ним соглашался. В конце концов Кацу удалось убедить обоих адвокатов. Сначала защита представила своих экспертов по иудаизму, в том числе двух ученых нееврейского происхождения: П. К. Коковцова, профессора Санкт-Петербургского университета, одного из самых известных гебраистов России, и И. Г. Троицкого, профессора Санкт-Петербургской духовной академии, — а также главного раввина Москвы Якова Мазе. Коковцов подробно остановился на соблюдаемом евреями с древности запрете на употребление в пищу крови, в силу которого при забое скота соблюдалась максимальная осторожность, чтобы в тушах убитых животных не оставалось ни капли крови. Еда, соприкасавшаяся с кровью, считалась нечистой и непригодной в пищу. Саму мысль, что еврей может употреблять в пищу кровь из религиозных соображений, профессор назвал нелепой. Трудно даже представить себе менее подходящее основание для еврейской секты. Коковцов решительно заявил: узнай он, что каких-то евреев поймали с обескровленным трупом, он скорее поверит, что они собирались его съесть, но никак не в то, что они выпили кровь.

После перерыва вновь вызвали Пранайтиса.

«В вашей экспертизе, — обратился к нему Карабчевский, — вы, кажется упоминаете о трактате Хулин. Есть такой?»

«Не помню», — ответил Пранайтис.

«Но трактат Хулин знаете? Как перевести это название, о чем здесь идет речь?»

Пранайтис молчал.

«Не можете сказать?»

Ответа не последовало.

«Дальше есть Махширин. Что это значит?»

«Это жидкость», — ответил Пранайтис. Он почти угадал: названный трактат посвящен условиям, при которых пища, соприкасаясь с жидкостью, делается нечистой.

Шмаков поспешил возразить: «Защитник экзаменует... Это недопустимо».

Судья Болдырев отклонил возражение. Он не мог запретить защите просить свидетеля пояснить значение им самим использованного термина.

«Вы, между прочим, ссылаетесь на трактат Йевамот».

«Я не буду отвечать».

«А Эрувин?»

Молчание.

Тогда Карабчевский задал последний вопрос, придуманный Кацем: «Где жила Баба Батра и чем она известна?»

Баба Батра (буквально — «последние ворота») — не женщина, а трактат в Талмуде, посвященный правам и обязанностям владельца собственности. Защитники надеялись, что слово «баба» собьет Пранайтиса с толку.

«Я не знаю», — ответил он.

Некоторые евреи в зале залились смехом, а сам Кац начал так неудержимо хохотать, что его вывели из зала суда.

Оба полицейских агента, докладывавших в Петербург о процессе, сходились на том, что экспертиза Пранайтиса произвела крайне неблагоприятное впечатление. Священник продемонстрировал «незнание текстов», «недостаточное знакомство с еврейской литературой» и всего лишь «дилетантские знания». В целом было похоже, что он не в состоянии «дать ответы на самые, казалось, простые вопросы».

К двадцать девятому дню суда, когда предполагалось приступить к заключительным речам, здоровье Бейлиса серьезно пошатнулось. За время заседания он несколько раз терял сознание, и врач установил, что подсудимый страдает «малокровием мозга», вызванным напряжением. Долгое выслушивание свидетельских показаний плохо сказывалось и на присяжных, двоим из которых потребовалась медицинская помощь.

Учитывая, что в рассмотрении дела принимали участие восемь присяжных поверенных — трое со стороны обвинения и пятеро со стороны защиты, — их речи должны были занять пять дней. Затем судье оставалось прочесть резюме и отправить двенадцать присяжных совещаться.

Первым к присяжным обратился государственный обвинитель Виппер. Формально он считался единственным прокурором на процессе: двое его коллег представляли лишь интересы матери убитого. Виппер же выступал от имени правительства.

Почему, вопрошал он, этот процесс так взволновал мир? Причина очевидна. «...Если бы обвинялся в этом преступлении не еврей, а русский, разве было бы такое движение?..» Разумеется, нет. Мир интересуется делом только потому, что на скамье подсудимых сидит Мендель

Бейлис, еврей, и «мы имеем смелость... обвинять его и его соучастников в том, что [они] из побуждений изуверства совершили это злодеяние». Не так давно всеобщее внимание привлек еще один процесс, напомнил прокурор: «Достаточно вспомнить о знаменитом процессе Дрейфуса, достаточно вспомнить, как поднялся, как волновался из-за одного человека весь мир, из-за человека, обвинявшегося в государственной измене только потому, что он еврей».

Виппер отрицал, что обвинение предъявлено всему еврейскому народу. «Мы обвиняем только отдельного изувера, мы нисколько не думаем обвинять еврейство», — заявил он. Однако евреи попытались утаить правду. С самого начала «принимались все меры к тому, чтобы запутать, затемнить это дело». Если улики оказались мало, если фонарщики или Волкивна не сказали то, что от них требовалось, причина кроется прежде всего в происках евреев.

В речи Виппера содержится столь характерная для многих антисемитских тирад интонация беспомощности. «...Скажу открыто, пусть за это меня будут судить... что я лично чувствую себя под властью евреев, под властью еврейской мысли, под властью еврейской прессы... Фактически они владеют нашим миром, — продолжал прокурор, — мы чувствуем себя под их игом».

На седьмой час своей речи, занявшей около десяти часов, когда прокурор пересказывал свидетельские показания, а присяжные и публика, вероятно, клевали носом, Виппер неожиданно удивил присутствующих. К своему списку не привлеченных к суду обвиняемых он добавил новое имя. Этот список, куда прокурор занес торговца сеном Шнеерсона с подозрительно «благородной» еврейской фамилией и почти всех евреев с завода Зайцева, уже был весьма длинным. Но теперь в нем нашлось место и для Веры Чеберяк.

Возможно ли, что Вера Чеберяк причастна к убийству? Виппер не мог исключить такого сценария. Ведь Чеберяк и Бейлис «был[и] знаком[ы], и даже, по-видимому, хорошо». Пригодилась и корова Бейлиса: прокурор намекнул, что животное служило предлогом для постоянного общения подсудимого с Чеберяк. Вполне может быть, заявил Виппер, что Вера Чеберяк замешана в убийство Ющинского. Ловким приемом прокурор надеялся перехитрить защиту, стратегия которой строилась на попытке доказать виновность Чеберяк. Убедит ли присяжных такой ход или только запутает, предстояло вскоре выяснить.

К концу речи Виппер говорил едва слышно, так как был близок к нервному срыву, в чем и признался присяжным, прежде чем перейти к заключительному аккорду.

На следующий день слово предоставили гражданскому истцу Замысловскому. Он излучал уверенность. Продуманной, прямолинейной речью стремился убедить присяжных в виновности подсудимого, опираясь на факты. Замысловский перечислил неувязки — реальные и вымышленные — в показаниях сестер Дьяконовых, Красовского, Бразуля и других. Что до вещественных доказательств, то одного вскрытия, заявил он, уже достаточно, чтобы с полной уверенностью утверждать, что Андрюша «убит из ритуальных целей для выпуска крови». Но главная стратегия Замысловского состояла в том, что он предложил присяжным категорический выбор — Чеберяк или Бейлис. Мальчика убили или в квартире Чеберяк, или на заводе Зайцева: «Если версия о Чеберяк провалится, то останется одно: он убит на заводе». А если на заводе, значит, виновен Бейлис. Замысловский охотно соглашался, что скандально известная Верка-Чиновница — женщина «низкого нравственного уровня». Но кто говорит правду — совершенно очевидно. «Кому верить?» — вопрошал он.

«Порочной женщине Чеберяк» или таким типам, как «Марголин и прогрессивный Бразуль»? И отвечал: «Конечно, верить Чеберяк».

Гражданский истец Алексей Шмаков говорил на протяжении пяти с половиной часов. В своей лихорадочно бессвязной речи он то и дело перескакивал с утомительно подробного описания уже известных обстоятельств к невразумительным отступлениям. Шмаков развенчал «легенду» об участии в убийстве Веры Чеберяк. Но вскоре, как и Виппер, начал настаивать, что Бейлис и Чеберяк — сообщники. Он тоже много говорил о «невидимой руке», мировом еврейском заговоре и его «страшном орудии, совершенно неодолимом... типографском станке».

Двадцать третьего октября 1913 года, в тридцать первый день заседания, первую речь в защиту Бейлиса произнес Василий Алексеевич Маклаков. Из пяти членов адвокатской команды он обладал наиболее ярким интеллектом. У него был редкий талант рассматривать вопрос с обеих точек зрения — он умел понять ход мыслей тех, кого даже склонен был презирать. И — что, пожалуй, еще важнее — речи Маклакова отличались прямолинейностью и простотой.

Маклаков начал с того, что попросил присяжных сосредоточиться исключительно на подсудимом. Он не станет опровергать обвинение в ритуальных убийствах, выдвинутое против евреев. Он только хочет напомнить присяжным, что оно не имеет никакого отношения к их единственной обязанности — решить, виновен ли подсудимый. Маклаков пошел еще дальше, признав, что, «может быть, и были изуверы, они могли быть везде, могли быть и у евреев». Но не присяжным решать спор, продолжающийся уже не одно столетие. Им понадобится вся их мудрость, чтобы разрешить только одно рассматриваемое дело.

Маклаков говорил так, как если был убежден в здравомыслии присяжных, и апеллировал к логике закона. Он признал, что присяжные имеют право с недоверием относиться к показаниям некоторых свидетелей защиты, поэтому он оставит в стороне всех, кто вызывает хоть малейшие сомнения. «Я буду опираться только на то, что вполне достоверно, что признают и обвинители», — подчеркнул Маклаков. А значит, не оставалось места ни для Екатерины Дьяконовой с ее незнакомцем в маске, ни для Зинаиды Малицкой, утверждавшей, что она слышала звук шагов убийц этажом выше, ни даже для сыщика Красовского. Зато оставались поразительно убедительные улики против Веры Чеберяк.

Когда [Андрюша] пропал, когда его разыскивали всюду, когда делали о нем публикации, [Чеберяк] ни одним словом никому не промолвила, что в роковой день двенадцатого марта она его видела, — отметил Маклаков. — У нее одной в руках был ключ к тому, чтобы Андрюшу сыскать, но она этого ключа никому не показывает. Почему она все это так усердно скрывала? Как, если она неповинна, как ей могло прийти в голову, что ее заподозрят в убийстве ребенка?

После этого Маклаков перешел к кульминационной части своей речи.

Драматическая сцена смерти Жени Чеберяк, нарисованная Маклаковым, потрясла публику. Маклаков начал с одного из характерных для него приемов — сделал уступку, чтобы завоевать доверие присяжных. Некоторые, в том числе Красовский, обвиняли Веру Чеберяк в том, что она хотела смерти своих детей. Это не так, возразил Маклаков.

Но наряду с естественной любовью матери в ней было другое чувство, чувство страха и ужаса за себя...

<...> Несчастной Чеберяковой приходится думать в этот момент не о спасении сына, не о спокойствии его; она не смеет закричать сыщикам: «Вон отсюда, здесь смерть, здесь Божье дело!» — она так крикнуть не смеет, совесть ее не чиста, она боится; мало того, она хочет воспользоваться умирающим сыном, она просит Женю: «Женя, скажи, что я тут ни при чем». В последние минуты она хочет использовать Женю для своего спасения: «Скажи им, что я ни при чем». Что же отвечает ей Женя? — «Мама, оставь, мне тяжело».

Умирающий мальчик этой просьбы не исполнил, умирающий мальчик не сказал: «Она тут ни при чем, вот кто виноват». Он не сказал в эту минуту того, что ему было бы так легко сказать. Если бы только это была правда, он бы сказал сыщикам: «Оставьте мою мать, она ни при чем, я сам видел, как Бейлис потащил в печь Андриюшу». Почему бы он этого не сделал? Ведь ему-то бояться больше нечего было; но он этого не сделал, он отворачивается от собственной матери, он ей говорит: «Мама, пойдь прочь, мне тяжело». И когда он хочет говорить, эта несчастная мать, как показали свидетели, эта несчастная мать целует его, чтобы мешать говорить, дает ему иудин поцелуй перед смертью, чтобы он не проболтался.

На этих словах у присутствующих перехватило дыхание, очевидцы отмечали, что по меньшей мере один присяжный смахнул слезу. Маклаков тем временем изящно разбирает ошибки обвинения, задавая один за другим вопросы, ответ на которые заключался в них самих. Станет ли кто-то, даже изуверы, хватать ребенка среди бела дня на глазах у нескольких свидетелей? А если даже допустить, что да, почему никто из детей, якобы игравших тогда с Андриюшей, не побежал тут же сказать родителям? Почему вся Лукьяновка в одночасье не узнала о случившемся? Ответ очевиден: «Никто об этом не

знал просто потому, что этого не было, что весь этот рассказ неправдоподобная выдумка Чеберяковой».

Маклаков сделал умный психологический ход — воззвал к национальному чувству присяжных. Представьте себе только, сказал он, что «вся Лукьяновка, зная о том, что их ребенка, христианского ребенка, потащили в печку евреи, что он после этого был найден убитым в пещере, что они все-таки побоялись бы об этом кому-нибудь рассказать».

Если бы было то, о чем говорит прокурор... тогда бы вся Лукьяновка встала, эти простые русские люди все поднялись бы, никого не боясь, и Бейлиса судить бы нам не пришлось. Не осталось бы завода Зайцева, не осталось бы Бейлиса, не было бы и суда.

В заключение он подчеркнул, что присяжные имеют право вынести Бейлису обвинительный приговор, если полагают, что против него достаточно улик. Маклаков предлагал им судить на основании одних только улик и не принимать участие в «самоубийстве нашего правосудия», поддавшись тем, кто старается возбудить в них ненависть к евреям.

После Маклакова слово взял Грузенберг, который счел нужным объяснить как еврей, прежде чем приступить непосредственно к делу.

Ритуальное убийство... Употребление человеческой крови... Страшное обвинение, — начал он. — Страшные слова. Если бы я, хоть одну минуту, не только знал, а думал бы, что еврейское учение позволяет, поощряет употребление человеческой крови, я бы больше не оставался в этой религии. Говорю это громко, зная, что эти слова станут известными евреям всего мира, что ни одной минуты я не считал бы возможным оставаться евреем. Я глубоко убежден, у меня нет ни минуты

сомнения, что этих преступлений у нас нет и не может быть.

Пусть и не с таким изяществом, как Маклаков, Грузенберг продолжил блистательный анализ многочисленных ошибок, неувязок, противоречий и пробелов в аргументации обвинения. Почему обвинители защищают Веру Чеберяк, говоря, что она невиновна в убийстве, и почти сразу объявляют ее возможной соучастницей? Если ее подозревали, почему не предприняли элементарных шагов, чтобы расследовать улики против Чеберяк? Если обвинение так убеждено в виновности Шнеерсона, почему он не сидит на скамье подсудимых рядом с Бейлисом? Обвинители утверждали, что кровь Андрюши понадобилась, чтобы освятить молельню, которую строили Зайцевы. Раз так, почему же и Зайцевых не судят? Большую часть шестичасовой речи Грузенберга занял беспощадный логический разбор доводов обвинения. А в заключение он вновь взял торжественную ноту:

...Крепитесь, Бейлис. Чаще повторяйте слова отходной молитвы: «Слушай, Израиль! — Я — Господь Бог твой — единый для всех Бог!». Страшна ваша гибель, но еще страшнее самая возможность появления таких обвинений здесь, — под сенью разума, совести и закона.

Маклаков считал, что любая попытка адвокатов защищать евреев в целом или оспаривать существование ритуальных убийств уводила в сторону и даже ставила под угрозу жизнь подзащитного. Несколько десятилетий спустя он писал в мемуарах: «Грузенберг держался того мнения, что на скамью подсудимых посажено еврейство и от „кровавого навета“ надлежит защищать не только Бейлиса, но и еврейство в целом», — тогда как сам Маклаков «всегда был сторонником защиты Бейлиса, а не евреев». Не исключено,

что Маклаков преувеличивает их расхождение. В своих воспоминаниях Грузенберг согласен с ним: «На суде нужно только одно: доказать, что тот, которому приписывается убийство из ритуальных побуждений, убийства не совершил», — но в речи он отчасти отступил от этого принципа. Пожалуй, оценка Мориса Самюэла: «...Чем красноречивей он [Грузенберг] говорил, тем более ненужными казались его слова» — чересчур сурова. В мемуарах Грузенберг пишет, что «дозволил себе» обратиться к присяжным с некоторыми соображениями общего характера. Но разумно ли он поступил, сказать трудно.

На тридцать второй день суда прозвучали две последние речи в защиту Бейлиса — Александра Зарудного и Николая Карабчевского. Речь Зарудного не удалась. Вместо того чтобы позволить словам экспертов произвести нужное впечатление и объявить разговоры о ритуальном убийстве абсурдом, он пустился возражать Шмакову в мелочах, касающихся еврейской религии. Высказывания Зарудного о предметах более общего характера были безупречны и порой красноречивы: «Суд — это нечто вроде храма. Как в храме молятся за врагов своих, где всегда нужно относиться с полным беспристрастием, с чистым сердцем, без всякого предубеждения, даже к врагу своему». Но эти правильные мысли потонули в «двухстах сорока восьми положительных заповедях», семи законах сынов Ноевых и ссылках на Исход.

Последним говорил Николай Карабчевский. Со свойственным ему витиеватым стилем он не смог подстроиться под необразованных присяжных, говорил о попытке обвинения доказать свою правоту «путем сопоставления отрицательных величин», употреблял такие слова, как «аксиома», «идиллия», «экстратерриториальный» и «казус». И все же Карабчевский акцентировал некоторые тезисы Грузенберга и Маклакова — в частности, о пропавшем пальто

Андрея. Как признавали сами обвинители, все указывало на то, что оно осталось в квартире Чеберяков. Почему Вера Чеберяк никому о нем не сказала? «Отойти от этого пальто невозможно», — подчеркнул Карабчевский. «Против Бейлиса, собственно говоря, никаких улик нет», — продолжал он. К тому же не следует недооценивать впечатления, какое производила сама личность Карабчевского, обаяние которого так всех изумляло. Некоторые говорили, что речи Карабчевского надо слышать, а не читать; вероятно, его речь в защиту Бейлиса вызвала больший отклик у присяжных, чем можно предположить, когда мы ее читаем.

На тридцать третий день суда, после взаимных возражений, не прибавивших к делу ничего существенного, судья предоставил Бейлису последнее слово.

Бейлис поспешно встал. «Господа судьи, — он говорил быстро, глядя прямо на присяжных — в свое оправдание я бы мог много сказать, но я устал, нет у меня сил, говорить не могу. Вы сами видите, господа судьи, господа присяжные заседатели, что я невиновен. Я прошу вас, чтобы вы меня оправдали, чтобы я мог еще увидеть своих несчастных детей, которые меня ждут два с половиной года».

Двадцать восьмого октября 1913 года в восемь утра Менделя Бейлиса отвели в тюремную контору и передали конвоирам. Перед тем как покинуть здание тюрьмы, его, как всегда, тщательно обыскали.

На Софийской площади дежурила конная полиция, а по периметру выстроился отряд пеших казаков. Власти ставили перед собой цель не допустить, чтобы на площади собралась толпа, способная учинить беспорядки. Около тысячи человек, собравшихся в ожидании приговора, теснились на тротуарах вдоль домов, расположенных вокруг площади. Судя по сообщениям в газетах, большинство собравшихся были за

оправдание Бейлиса. Те, кто поддерживал обвинение, собрались на другой стороне площади, в Софийском соборе, где «Двуглавый орел», правая молодежная организация во главе с Голубевым, служила панихиду по Андрею.

Когда открылось заседание суда, обвинение предприняло попытку официально закрепить свою стратегию. Отвечая на первый вопрос, присяжные должны были, по версии обвинения, принять решение относительно характера убийства и места, где оно было совершено:

Доказано ли, что 12 марта 1911 года в Киеве, на Лукьяновке, по Верхне-Юрковской улице, в одном из помещений кирпичного завода Зайцева, принадлежащего еврейской хирургической больнице... тринадцатилетнему мальчику Андрею Ющинскому при зажатом рте были нанесены колющим орудием на теменной, затылочной, височной областях, а также на шее раны, сопровождавшиеся поранениями мозговой вены, артерий, левого виска, шейных вен, давшие вследствие этого обильное кровотечение, а затем, когда у Ющинского вытекла кровь в количестве до пяти стаканов, ему вновь были причинены таким же орудием раны в туловище, сопровождавшиеся поранениями печени, правой почки, сердца, в область которого были направлены последние удары, каковые ранения в своей совокупности числом 47, вызвав мучительные страдания у Ющинского, повлекли за собой почти полное обескровление тела и смерть его?

Слов «ритуальный» или «религиозный» вопрос не содержал. Присяжные могли не касаться мотивов преступления, но формулировка вполне отвечала целям сторонников «ритуальной» версии. «Полное обескровление» предполагало, что убийство совершено с целью добыть кровь.

Кровь измерялась в «стаканах», что указывало на ее соби- рание и употребление. Описание преступления соответствовало утверждению обвинителей, что убийцы некоторое время подождали, давая крови стечь, и только после этого добились мальчика. Само указание на завод еврея Зайцева как место преступления подразумевало виновность евреев.

Далее следовал вопрос о виновности подсудимого. Формулировка почти полностью повторяла текст первого вопроса, отличалось только начало:

...Виновен ли подсудимый, мещанин Менахем- Мендель Тевьев Бейлис... в том, что, заранее задумав и согласившись с другими, не обнаруженными следстви- ем лицами, из побуждений религиозного изуверства лиши[л] жизни мальчика Андрея Ющинского...

Здесь уже присяжные не могли обойти мотив преступ- ления стороной. И все же обвинители избегали слова «ритуальный». Навязывать присяжным такую формулировку не стоило. Достаточно было «религиозного изуверства». Если Бейлиса признают виновным, все поймут, что его осудили за ритуальное убийство.

Защита возразила, что для первого вопроса нет закон- ных оснований и оба вопроса сформулированы предвзято. Судья Болдырев отклонил возражения.

Произнеся двухчасовое резюме, Болдырев говорил как прокурор — в той мере, в какой ему позволяла необходимость по-прежнему играть в соблюдение судебных норм. В. Д. Набоков отметил: «По существу, оно было сплошной обвинительной речью, хладнокровной и обдуманной». Подводя итоги тридцатитрехдневного слушания дела, Болдырев изобразил версию обвинения куда более уреди- тельной, хотя ни разу не забыл добавить, что присяжные не обязаны с ней соглашаться. «Вы знаете, что трип был

обескровлен», — заявил он, хотя эксперты со стороны защиты оспаривали это утверждение. «Зачем убийцам было допускать, чтобы вытекала кровь? — вопрошал он. — Какой смысл был у убийц смотреть на свою жертву, мучимую ими, смотреть, как вытекает кровь?» Главную дань приличиям председатель приберег к концу речи: «Здесь много говорилось об еврействе — это вы все забудьте. Вы решаете судьбу Бейлиса».

Судья передал старшине присяжных вопросный лист, и присяжные ушли совещаться. Двенадцать человек во главе со старшиной, заискивающая манера которого в обращении с председателем и прокурором внушала Грузенбергу недоверие, по одному выходили из зала. Их лица ничего не выражали. Грузенберг сделал последнее заявление, обратившись к судье с просьбой позвать присяжных обратно и исправить формулировку вопросов с учетом предложений защиты. Болдырев отклонил ходатайство.

Те, кто читал о процессе в газетах, большей частью не сомневались, что Бейлиса оправдают (не исключая высших правительственных чиновников, правда, не выражавших своего мнения публично). Но они рассуждали логически и с точки зрения улики. Однако большинство тех, кто присутствовал в зале суда на протяжении всего процесса, были уверены в обвинительном приговоре.

После суда Грузенберг признался репортеру, что, пока он ждал решения присяжных, на ум ему приходили только причины, в силу которых может быть вынесен обвинительный вердикт. Состав присяжных был «исключительно темным». Грузенберг видел, как с каждым днем лица присяжных принимали все более «растерянное, беспомощное, озлобленно угрюмое» выражение. Беспрестанные разговоры о «еврейском засилье», «всемогуществе еврейского золота» и кровавых жертвоприношениях, которые вот уже тридцать три

дня вбивали им в голову, могли разжечь в душах этих простых русских людей бессознательную племенную вражду. Последней надеждой Грузенберга было напутствие судьи Болдырева присяжным. И все же, когда присяжные удалились в совещательную комнату, адвокат подумал: «Бейлис погиб».

Когда совещание, продолжавшееся час двадцать минут, наконец закончилось, в здании зазвонил колокол. Присяжные приняли решение. Зрители перестали спорить и бросились занимать свои места. Менделя Бейлиса, тяжело опиравшегося на своих конвоиров, ввели в зал суда и в последний раз усадили на скамью подсудимых.

Пристав выкрикнул: «Суд идет! Прошу встать!» Все поднялись со своих мест. Четверо судей заняли свои места за судейским столом. Присутствующие снова сели. В пять часов сорок минут судебный пристав возвестил появление присяжных, снова провозгласив: «Прошу встать!» Все встали. Старшина присяжных протянул судье Болдыреву лист с ответами. Председатель прочел их и вернул старшине. Затем сели все, кроме старшины, стоявшего перед судейским столом с листом бумаги в руках. Судья велел ему огласить решение. Старшина начал читать первый вопрос — было ли убийство совершено на территории завода Зайцева и каким образом.

Вопрос был длинным, но его полагалось прочесть полностью. Старшина тихим, дрожащим голосом произнес: «обильное кровотечение», «до пяти стаканов», «числом сорок семь» — пока наконец не дошел до слов «и смерть его». Затем прибавил еще два слова: «Да, доказано». По мнению присяжных, убийство было совершено так, как утверждало обвинение.

Старшина перешел ко второму вопросу. Прочитав его, он произнес еще два слова. Бейлис начал судорожно всхлипывать, но глаза его оставались сухими. Он упал на

барьер, огораживающий место подсудимого. Несколько раз он поднимался и снова падал. Бейлис реагировал на приговор всем телом, но окружающим показалось, что смысл слов не дошел до его сознания. На самом деле он все понял, но в первые минуты не мог поверить произнесенному: «Нет, невиновен».

Старший из охранявших Бейлиса конвойных протянул ему стакан воды, но Зарудный выхватил стакан из рук конвоира, крикнув: «Бейлис больше не в вашей власти, он наш!» — и сам подал Бейлису стакан. Судья Болдырев объявил Бейлису: «Вы свободны, можете занять место среди публики». Конвоиры сделали шаг в сторону, но Бейлис не шелохнулся. Судьи на несколько минут удалились, а вернувшись, объявили дело решенным. Бейлис, все еще плача, едва нашел в себе силы привстать с места и поклониться.

Ему пришлось провести в здании суда еще около двух часов, пока не рассеялась толпа. Вечером в половине восьмого полицейский фургон в последний раз отвез Бейлиса в тюрьму, где он расписался за возвращенные ему вещи. Затем, под охраной многочисленных полицейских и караульных, его препроводили на зайцевский кирпичный завод. В девять часов тридцать минут вечера Бейлис наконец переступил порог своего дома, где его ждали объятия близких.

На следующее утро Бейлис, проснувшись, узнал, что его хочет видеть весь Киев. «На завод Зайцева тянутся старики и дети, расфранченные дамы и простые бабы-торговки, рабочие и студенты, курсистки и маленькие школьники», — писала «Киевская мысль». Столько людей спрашивали, как туда добраться, что кондуктор трамвая на Александровской площади выкрикивал: «К Бейлису — на шестнадцатый номер!» Кто-то установил рядом с его домом табличку: «Остановка „Бейлис“». Бесперывно прибывавшие посетители выстраивались в очередь, чтобы хоть минуту поговорить

с известным на весь мир подсудимым. За два дня Бейлис пожал тысячи рук.

Он получал сотни телеграмм. Одна из них пришла из Чикаго и была написана по-английски. Когда отыскивали человека, который смог ее прочесть, оказалось, что это предложение от импресарио в течение двадцати недель играть в его театре самого себя за двадцать тысяч рублей.

Бывший приказчик кирпичного завода чувствовал себя измученным. Репортеру он объяснил, что ему хотелось уехать из города на отдых, но он решил остаться в Киеве: «Чтобы союзники [то есть черносотенцы] не говорили, что я сбежал».

* * *

Когда Бейлиса оправдали, тех, кто его поддерживал, захлестнула радость. Но двойственный вердикт дал основание торжествовать победу обеим сторонам. Гражданский истец Замысловский признавал, что оправдательный приговор разочаровал его, но утверждал, что главная цель — доказать ритуальный характер убийства — была достигнута. Формулировка обвинительного акта не оставляла никаких сомнений относительно природы убийства. Адвокаты Бейлиса, в свою очередь, заявляли, что утвердительный ответ на первый вопрос ни в коей мере не свидетельствует о ритуальной подоплеке преступления. Вопрос, заданный присяжным, не содержал никаких отсылок к религии. Если присяжные сочли, что убийство совершено где-то на территории завода Зайцева, площадь которой составляла более ста тысяч квадратных метров, это еще ничего не значило. К тому же обвинители утверждали, что если убийство совершено евреями, значит, в нем участвовал Бейлис. Поэтому, оправдав Бейлиса, присяжные оправдали и евреев. Грузенберг заметил, что изображать исход процесса как победу обвинения — комические усилия, достойные жалости.

Можно уверенно утверждать, что решение присяжных было самостоятельным. Как сказал Грузенберг в беседе с журналистом, «мужички за себя постояли». В мемуарах он утверждал, что семеро присяжных склонялись к обвинительному приговору, «но, когда старшина приступил к окончательному голосованию, один крестьянин поднялся, помолился на икону и решительно заявил: „Не хочу брать греха на душу — не виновен“». (Эту красивую легенду часто повторяют, но она, увы, ничем не подтверждается.)

Павел Любимов, чиновник Департамента полиции, в последнем секретном донесении Белецкому назвал процесс Бейлиса «полицейской Цусимой, которую никогда не простят». Многие в правительстве действительно придерживались мнения, что речь идет о катастрофе, равноценной военному поражению. Однако вне зависимости от приговора дело Бейлиса не могло кончиться для режима ничем, кроме краха. Как написал вскоре после суда В. А. Маклаков, процесс был симптомом «опасной внутренней болезни самого государства». Однако Маклаков полагал, что в целом процесс оказал благотворное влияние на общество: «разбудил... общественное равнодушие», открыв «здоровые чувства там, где их не ожидали», и в конечном счете оказался не чем иным, как «спасительным предостережением».

Через десять дней после объявления приговора в Петербурге состоялся торжественный банкет «в честь героев киевского процесса». Почетными гостями на нем были министр юстиции Щегловитов и товарищ прокурора Виппер. Присутствовали также А. И. Дубровин, основатель Союза русского народа. Отсутствующим же «героям» — в том числе Чаплинскому, профессору Косоротову (получившему оставшиеся две тысячи рублей за мастерски выполненную работу),

профессору Сикорскому — послали телеграммы с благодарностью «за благородное гражданское мужество и высокое нравственное достоинство».

В качестве вознаграждения их осыпали похвалами, чинами и деньгами. Чаплинский, прокурор Киевской судебной палаты, был назначен в Сенат. Судья Болдырев получил обещанную ему должность старшего председателя Киевской судебной палаты и повышение жалованья. Гражданскому истцу Замысловскому заплатили двадцать пять тысяч рублей из секретного царского фонда за написание книги о процессе.

А что думал об исходе дела Николай II? В день объявления приговора он находился на отдыхе под Ялтой, в Ливадийском дворце, вместе с императрицей Александрой и детьми. Когда один из приближенных сообщил ему новость из Киева, Николай сказал: «Несомненно, это было ритуальное убийство. Но я рад, что Бейлиса оправдали, ведь он невиновен». Царь был доволен.

■ «Запах гари, железа и крови»

Кто убил Андрея Ющинского?

Двадцать седьмого ноября 1913 года в местечке Фастове, приблизительно в восьмидесяти километрах к юго-западу от Киева, на территории лесного склада на аккуратно уложенных досках было найдено тело убитого мальчика одиннадцати или двенадцати лет. Труп лежал в луже крови. На шее убитого пунктирной линией от уха до уха было тринадцать колотых ран.

Реакция черносотенцев и правой прессы была предсказуема: еще одно убийство, совершенное иудеями, негодовали они. Число колотых ран — каббалистическое, значит, убили иудеи. Делая подобные заявления, они упускали из виду один весьма неудобный факт: жертвой оказался Иоссель Пашков, еврейский мальчик. Более того, его убийца, которого вскоре нашли, был христианином. Полиция быстро нашла след Ивана Гончарука, преступника со стажем, за плечами которого было десять обвинительных приговоров. Местная прокуратура вскоре представила убедительные, как ей казалось, доказательства виновности Гончарука. Но черносотенцы настаивали, что предполагаемое еврейское происхождение жертвы — дьявольский обман. (То, что мальчик был обрезан, они расценили как часть заговора.) Они настаивали на том, что это был труп христианского ребенка.

Каким бы невероятным это ни казалось, события с удивительной точностью повторяли сценарий дела Бейлиса. Расследованием заинтересовался министр юстиции Щегловитов. Чаплинский только что покинул пост прокурора Киевской судебной палаты, но еще не вступил в должность сенатора. Он посоветовался с министром юстиции по поводу фастовского дела, и события приняли оборот, удовлетворявший обоим.

В декабре 1913 года исполняющий обязанности прокурора Киевской судебной палаты Володкович, ранее работавший под началом Чаплинского, начал новое расследование, поставив себе задачу ответить на вопрос: действительно ли убитый был Иосседем Пашковым или на самом деле его отец, портной Фроим Пашков, убил христианского мальчика, замышляя выдать труп за тело собственного сына? Чтобы доказать эту гипотезу, требовалось два элемента: пропавший христианский ребенок и спрятанный Иоссель, живой и невредимый. Сам факт, что власти уцепились за такую безумную теорию, свидетельствует об их решимости — или отчаянной попытке — возбудить еще одно «ритуальное» дело и реабилитироваться после поражения на процессе Бейлиса.

Как и в случае с делом Бейлиса, сыскная полиция не поддержала версию о ритуальном убийстве. Фастовский становой пристав упорно не находил никаких доказательств «ритуала». Прокурор счел его работу «явно тенденциозной в благоприятном для евреев смысле» и отстранил от расследования. Правая пресса придумала историю о бегстве еврейского мальчика Иосседа не то в Америку, не то в какую-то еще страну «вместе с Бейлисом». Однако на некоторое время следствие зашло в тупик — не удавалось найти подходящего пропавшего христианского ребенка. Правда, к январю 1914 года наметился сдвиг. Родителей исчезнувшего мальчика Бориса Тараненко привели в морг, где предъявили им сильно разложившийся труп жертвы фастовского убийства. Они заявили, что это их сын. Отца Иосседа и его приказчика обвинили в убийстве Бориса и заключили в тюрьму. (Борис пропал в Житомире, более чем в ста шестидесяти километрах к западу от Фастова; как он очутился в Фастове, никто даже не пытался объяснить.) Профессор Сикорский, решив снова выступить в роли эксперта по психологии евреев, поделился

своим мнением с правой газетой «Новое время», заявив, что, хотя «убийство совершено грубым образом» (кровь жертвы была «неэкономно» разлита), все указывает на его ритуальный характер.

В середине февраля Николай Чебышев, назначенный на место прокурора Киевской судебной палаты, наконец вступил в должность. Чебышев, известный как обвинитель на процессах против погромщиков, обладал репутацией человека мужественного и безукоризненно честного. Он быстро изменил направление розысков по фастовскому делу. Судебно-медицинский эксперт установил, что убитый — Иоссель Пашков, отца мальчика вместе с приказчиком освободили, а Ивану Гончаруку вынесли обвинительный приговор за убийство ребенка. В июне полиция разыскала пропавшего Борю Тарасенко — он сбежал из дома, но оказался вполне живым — и вернула его родителям.

Мог ли Иван Гончарук убить и Андрея Ющинского? Похоже, на протяжении почти ста лет никто не задавался этим вопросом. Власти не поднимали вопрос ни об этой, ни о какой-либо еще альтернативной версии. Первым такую догадку высказал в 2005 году известный российский историк профессор Сергей Александрович Степанов. Он справедливо заметил, что, несмотря на крайне подозрительное поведение Чеберяк и ее шайки, прямых улик, указывавших на их причастность к убийству, обнаружено не было. Что касается революционеров-осведомителей Караева и Махалина, вполне возможно, что они солгали, заявив, что Петр Сингаевский, сводный брат Веры Чеберяк, сознался им в убийстве. Кроме их показаний, улик против Сингаевского тоже не было.

Версия об убийце-одиночке встречает лишь одно препятствие: эксперты со стороны как защиты, так и обвинения, были согласны в том, что убийство Ющинского совершил не один маньяк, а группа. Однако один из приглашенных

защитой специалистов не разделял эту точку зрения, хотя и не стал оспаривать ее в суде. Профессор Владимир Михайлович Бехтерев, невропатолог с мировым именем, ведущий специалист в области физиологии мозга, изучив данные вскрытия, фотографии и биологический материал, выступил на суде с психиатрической экспертизой. В объемной статье, опубликованной вскоре после суда, он писал:

Надо, однако, иметь в виду, что, хотя другие эксперты и высказывались за совершение убийства Ю[щинского] не менее как двумя лицами, имея в виду сложность убийства, состоящего из нанесения множества ран и задушения, но с нашей точки зрения возможно допустить, что непосредственной убийцей, не принимая во внимание других возможных соучастников убийства, мог быть и один, ибо нужно ли много лиц для того, чтобы, оглушив мальчика 12 лет, при внезапном нападении, рядом тяжелых ударов, нанесенных шваикой в голову и в правую сторону шеи, прикончить с ним задушением и путем дальнейшего нанесения ударов. Ясно, что нет.

Доводы Бехтерева представляются убедительными. Но, как язвительно замечает Степанов, «убийца-садист никому не был нужен». Обе стороны были заинтересованы в версии о нескольких убийцах. Защита утверждала, что Андрея убила шайка Чеберяк; обвинение доказывало, что за преступлением стоит изуверская еврейская секта. Доказать, что мальчика убил Гончарук или какой-то другой маньяк, невозможно, однако совсем отбросить эту гипотезу нельзя.

1917

В начале марта 1917 года в квартире Грузенберга в Петербурге зазвонил телефон. За окнами была революция. Звонил коллега, по поручению Временного правительства

охранявший дела Департамента полиции. «Хотите познакомиться с секретным производством по делу Бейлиса?» — спросил тот адвоката. Грузенберг, конечно, согласился.

Вряд ли ему довелось бы увидеть эти материалы, если бы не обрушившаяся на Россию невиданная катастрофа. Первого августа 1914 года, всего через девять месяцев после того, как Мендель Бейлис покинул здание Киевского окружного суда, страна оказалась втянута в войну. «Запах гари, железа и крови», который Александр Блок ощутил весной 1911 года, был предвестником кровавой бойни, величайшей из тех, что до сих пор переживало человечество. В войне с Центральными державами, Германской империей и Австро-Венгрией Россия потеряла убитыми и ранеными более девяти миллионов человек. Судьба не отпустила стране двадцати лет покоя, необходимых государству, как говорил Столыпин, чтобы провести успешные реформы.

Всем было ясно, что революция неизбежна, и все же она пришла неожиданно. «...Крушение власти, — записал Блок в дневнике три месяца спустя, — оказалось неожиданностью и „чудом“; скорее просто неожиданностью, как крушение поезда ночью, как обвал моста под ногами, как падение дома».

Новое правительство России решило, что прежних угнетателей народа, в том числе главных обвинителей Бейлиса, следует призвать к ответу за их преступления. Первым из высших правительственных чиновников арестовали бывшего министра юстиции Щегловитова. Вечером 27 февраля Щегловитова у него дома задержал студент, по собственной инициативе прихвативший с собой нескольких солдат. Конвойные торопили бывшего министра, не успевшего даже надеть пальто, хотя стояли суровые морозы. Борису Утевскому, помощнику Карабчевского во время процесса Бейлиса, довелось увидеть Щегловитова через

несколько мгновений после ареста, и его поразило вид узника: «посеревшего, небритого, обмякшего, запуганного, но злого и ненавидящего». Вначале Щегловитова препроводили в Таврический дворец, где его встретил известный адвокат и депутат Думы А. Ф. Керенский, которому вскоре предстояло занять пост министра юстиции и на короткое время возглавить российское правительство. Керенский провозгласил: «Гражданин Щегловитов, от имени народа объявляю вас арестованным!» — после чего Щегловитова доставили в Петропавловскую крепость.

С бывшим министром внутренних дел Н. А. Маклаковым, арестованным на следующий день, обошлись куда более сурово: по дороге в Петропавловку его зверски избили.

Белецкого, бывшего начальника Департамента полиции, тоже арестовали и заточили в крепость. Царское правительство было разгромлено. Подготовить отречение Николая II было поручено В. В. Шульгину, депутату Думы, антисемиту, известному своим резким выступлением против обвинителей Бейлиса, и бывшему председателю Государственной думы А. И. Гучкову. Советники убедили Николая, что ему нельзя оставаться у власти. «Если надо, чтобы я отошел в сторону для блага России, я готов на это», — сказал он. Он отрекся ради спасения родины в пользу брата Михаила, а не неизлечимо больного сына. Но Михаил тоже подписал отречение, тем самым положив конец трехсот-летнему правлению династии Романовых.

Между тем Грузенберг изучал пять томов, которые занимали секретные материалы по делу Бейлиса. Он узнал о незаконной слежке за присяжными, о переписке высших правительственных чиновников, уверенных, что Бейлис невиновен. Прочел перехваченные властями письма, содержавшие ценную для защиты информацию, но так и не достав-

ленные адресатам. Увидел копии собственных писем, которые поздней ночью, после утомительных судебных заседаний, писал сыну и дочери. В материалах дела оказалась и корреспонденция о назначении полицейского надзора за лицами, отправлявшими защите сочувственные письма.

У Грузенберга были основания верить, что судьба его родины меняется к лучшему. Управление государством перешло в руки таких, как он. Адвокаты, защищавшие Менделя Бейлиса, как и их видные сторонники, играли важную роль во Временном правительстве. Керенский, новый министр юстиции, обратился к Карабчевскому за советом относительно организации министерства. Своим заместителем он назначил Зарудного, который через четыре месяца сам занял пост министра юстиции. О. О. Грузенберг получил место в Сенате. В. А. Маклаков сменил несколько временных должностей в правительстве. В. Д. Набоков был назначен начальником канцелярии. Правительство созвало Чрезвычайную комиссию для расследования преступлений царского режима, в число которых входили неправосудные решения и грубо нарушавшие закон действия правительственных чиновников во время процесса Бейлиса. На допросе от И. Г. Щегловитова, Н. А. Маклакова и С. П. Белецкого потребовали дать отчет о своей роли в этом деле. Оба бывших министра защищали свою позицию, хотя Щегловитов и признал неправомоерность некоторых предпринятых властями шагов. Белецкий несколько раз повторил, что стыдится своего участия в попытке добиться осуждения невиновного.

Увы, красные революционные знамена, радовавшие сердце Грузенберга, не сулили России добра. Третьего апреля Владимир Ленин, лидер Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), вернулся в Россию из Швейцарии. Девять лет он прожил в изгнании. Через три недели

начались демонстрации и мятежи, устраиваемые большевиками. «...В сущности говоря, — вспоминал позднее В. Д. Набоков, — последующие шесть месяцев... были одним сплошным умиранием».

Судьбы

Жизни некоторых заметных участников процесса над Менделем Бейлисом унесли сражения и тяготы Первой мировой войны. Но судьбу большинства из них предстояло решить Октябрьской революции: одних новое правительство России обрекло на смерть, другие отправились в вынужденное изгнание.

Владимир Голубев, первым предложивший Менделя Бейлиса на роль подозреваемого в убийстве Андрея Ющинского, погиб на войне в 1915 году.

Алексей Шмаков, поверенный гражданской истицы, матери Андрея, а по сути помощник прокурора Виппера, умер в 1916 году.

После суда ксендз Иустин Пранайтис вернулся в Ташкент, где вскоре его уличили в хищении около полутора тысяч рублей из средств, собранных им на благотворительность. Он умер незадолго до революции, в январе 1917 года.

В 1917 году скончался и профессор Сикорский — как раз вовремя, чтобы избежать расплаты за свою роль в деле Бейлиса.

Когда после большевистского переворота началась Гражданская война, Замысловский, коллега Шмакова, бежал на Кавказ. Он умер от тифа в 1920 году во Владикавказе.

Щегловитов, Маклаков и Белецкий, арестованные Временным правительством и содержавшиеся в Петропавловской крепости, в 1918 году были расстреляны большевиками.

Прокурор Виппер бежал в Калугу, где некоторое время занимал мелкую должность в губернском продовольственном комитете. В конце концов его арестовали, и в сентябре 1919 года Московский революционный трибунал судил Виппера за его роль в деле Бейлиса. Прокурор попросил смертного приговора. Но трибунал, решив проявить милосердие, вынес иной вердикт: «заключить в концентрационный лагерь с лишением свободы до полного укрепления в Республике коммунистического строя». Виппер не протянул в лагере и года.

У Сергея Махалина первое время после революции дела шли хорошо — он получил некую государственную должность (какую именно, неизвестно). Но, как видно из заметки, опубликованной в те годы в одной из газет, вскоре его обвинили в связях с царской охранкой (что соответствовало действительности) и «с известным антисемитом А. С. Шмаковым» (что почти наверняка было далеко от истины). За обвинениями последовал расстрел.

В январе 1914 года Веру Чеберяк признали виновной в продаже краденых вещей в часовой магазин Гусиной и приговорили к двум месяцам тюрьмы. О ее жизни в следующие четыре года нет достоверных сведений. Известно лишь, что в 1918 году Чеберяк была расстреляна большевиками. Один из сотрудников ЧК, попавший в плен к белым, рассказал на допросе, что Чеберяк, как и еще некоторых, расстреляли за связь с Союзом русского народа — черносотенцами, игравшими столь заметную роль в распространении кровавого навета на евреев. Наибольшего доверия заслуживает рассказ о ее смерти, напечатанный в начале 1960-х годов в нью-йоркской газете на идише «Дер тог — Моргн журнал». Ее давний корреспондент Хаим Шошкесс сообщил, что, когда он в 1920 году сидел в большевицкой тюрьме в Харькове, надзиратель по фамилии Антизерский

хвастался перед заключенными-евреями, что в штабе киевской ЧК допрашивал знаменитую Веру Чеберяк и собственными руками ее прикончил. По слухам, сводного брата Чеберяк Петра Сингаевского тоже расстреляли большевики.

Владимира Дмитриевича Набокова застрелили в 1922 году в Берлине: он погиб, защищая своего друга, бывшего лидера кадетов П. Н. Милюкова, на которого покушались правые русские эмигранты.

После отречения Николай Александрович Романов вместе с женой Александрой и пятью детьми оказались пленниками — сначала Временного правительства, потом большевиков. В июле 1918 года в Екатеринбурге приставленные к ним для охраны большевики расстреляли и добились штыками Николая и его семью в подвале дома, где содержались пленники. В августе 2000 года Русская православная церковь причислила их к лику святых за мученическую кончину.

Все адвокаты Бейлиса, кроме одного, эмигрировали в Западную Европу.

Незадолго до Октябрьской революции Временное правительство назначило В. А. Маклакова послом во Францию, где он остался и провел большую часть жизни, а умер в Швейцарии в 1957 году.

Николай Платонович Карабчевский тоже уехал во Францию. Скончался в Париже в 1925 году.

Оскар Осипович Грузенберг умер в декабре 1940 года в Ницце. Когда он был уже при смерти, один из коллег-христиан вызвался отдать ему свою кровь для переливания. После этой процедуры Грузенберг нашел в себе силы пошутить: «Ну, вот теперь как же не сказать, что евреи употребляют христианскую кровь?» Он скончался той же

ночью. В 1950 году, в соответствии с последней волей Грузенберга, его останки были перезахоронены в Израиле.

Дмитрий Николаевич Григорович-Барский провел межвоенные годы во Франции, где долго возглавлял Объединение русских адвокатов, позднее эмигрировал в США. Умер в 1958 году в Чикаго.

Александр Сергеевич Зарудный примирился с большевиками и оставался в Советском Союзе до своей смерти в 1934 году.

Степан Иванович Бразуль-Брушковский тоже остался в Советском Союзе, но в 1937 году его расстреляли.

После Октябрьской революции Н. А. Красовский перебрался в польский город Ровно (ныне территория Украины). Последние сведения о нем относятся к 1927 году, когда он послал письмо одному французскому сионисту, надеясь обеспечить себе гонорар за мемуары, публикация которых, как утверждал Красовский, не оставит никаких сомнений относительно того, кто убил Андрея Ющинского. Помощи Красовский так и не получил. Остается надеяться, что его мемуары сохранились в каком-нибудь архиве и еще ждут того, кто их обнаружит.

Арнольд Давидович Марголин, что не совсем типично — но и не уникально — для еврейской элиты, считал для себя родными украинский народ и культуру, полагая, что и украинцам, и евреям нужна своя страна. В 1918–1919 годах Марголин был членом Верховного суда и заместителем министра иностранных дел недолговечной Украинской Народной Республики, пока большевики не отвоевали обратно территорию Украины. В 1922 году Марголин эмигрировал в Соединенные Штаты. Через несколько лет он сдал государственные экзамены в Массачусетсе и Нью-Йорке, вернувшие ему официальный статус присяжного поверенного и право продолжать адвокатскую практику. Марголин

специализировался в области российского права. Во время и после Второй мировой войны Марголин выступал за организацию поселений еврейских беженцев в Палестине и других странах. Умер в Вашингтоне в 1956 году, успев приветствовать создание государства Израиль. Украина, которую Марголин хотел видеть независимой, обрела самостоятельность только после распада Советского Союза в 1991 году. В 2000 году Государственный департамент США учредил ежегодную премию Фулбрайта — Марголина для украинских писателей, названную в честь сенатора Джеймса Уильяма Фулбрайта и Арнольда Давидовича Марголина, «выдающегося украинского юриста и дипломата».

Необычнее всего сложилась судьба Василия Витальевича Шульгина. После революции он бежал из России, осев в Югославии. Во время Второй мировой войны, в 1944 году, когда в Югославию вошли советские войска, Шульгина задержали, вернули в Россию и приговорили к длительному тюремному заключению за антисоветскую деятельность. После освобождения в 1956 году он, по крайней мере внешне, стал патриотом Советского Союза и написал «Письма к русским эмигрантам», полные пламенной прокоммунистической пропаганды. В 1965 году Шульгин снялся в удивительном документальном фильме «Перед судом истории», где рассказывал об отречении Николая II. Шульгин умер в 1976 году во Владимире в возрасте девяноста восьми лет.

Что касается самого бывшего подсудимого, уже через несколько недель после оправдательного приговора Мендель Бейлис понял, что непрощеная известность не даст ему спокойно жить в России. Весной 1914 года Бейлисы эмигрировали в Палестину, где Мендель сразу почувствовал себя как дома. Первые месяцы в Палестине, вероятно, были счастливейшей порой в его жизни. Но Первая мировая война

разрушила эту идиллию. Великобритания и Османская империя боролись за контроль над Святой землей. Бейлису с семьей пришлось уехать из города Петах-Тиква, когда османские войска прогнали их и разрушили их дом. До этого старший сын Пинхас, которому едва исполнилось семнадцать, несмотря на возражения родителей, вступил в ряды османской армии, потому что она сражалась против России. Вскоре он дезертировал, рискуя подвергнуться казни. Ему удалось пережить войну, но вскоре после этого Пинхас покончил с собой. В 1922 году Бейлис решил на переезд в Америку. Семья обосновалась в Бронксе. Но и в Америке Бейлис не разбогател. Он готов был взяться за любую работу, но не мог никуда устроиться. Он попробовал было себя в издательском деле, потом в качестве страхового агента, но потерпел неудачу. Воспоминания «История моих страданий», изданные в 1925 году собственными силами при содействии Марголина и других членов Американского еврейского комитета, продавались неплохо и принесли некоторую прибыль. Если бы Бейлис переехал в Америку в 1913 году и принял предложение заработать на своем имени (например, от газеты Хёрста *New York American*, предлагавшей ему сорок тысяч долларов за двадцатинедельный тур, на протяжении которого он должен был выступать с речами), он бы сколотил состояние. Но он об этом не жалел. В 1933 году Бейлис признался газете *Jewish Daily Bulletin*, что не мог бы пользоваться своим положением еврея и жертвы несправедливого преследования: «Я и сейчас поступил бы так же». К началу 1930-х годов Бейлис жил главным образом тем, что продавал свою книгу, обивая пороги в поисках покупателей. «Мне нет еще и шестидесяти, — сказал он в беседе с репортером за год до смерти, — а кажется, я прожил тысячу лет». Бейлис умер в 1934 году, и на его похороны собрались четыре тысячи человек — последняя дань его славе, от

которой он так старался убежать и которая стала для него невыносимым бременем.

Отголоски

Несколько лет после приговора фамилия «Бейлис» оставалась в России уничижительным обозначением еврея. Что еще более странно, в годы Первой мировой войны некоторые русские называли немецкие цеппелины «Бейлисами» — евреев считали предателями, поддерживавшими Германию.

Однако прошло около десяти лет, и имя Менделя Бейлиса, некогда одного из самых известных людей в мире, стерлось из людской памяти как в России, так и в других странах. Но кровавый навет никуда не делся. Он продолжал жить — особенно за пределами России.

Не стоит удивляться, что кровавый навет не прекратил существование на Западе. В осуждении, с каким западные страны отзывались о процессе над Бейлисом, присутствовала немалая доля лицемерия.

Возрождение в Европе кровавого навета было тревожным сигналом. Дело Бейлиса должно было заставить европейцев, критиковавших Россию, оглянуться на себя, потому что процесс оказался, говоря словами В. А. Маклакова, симптомом «опасной внутренней болезни», поразившей самое сердце Европы. На суде Виппер не скрывал, что вдохновлялся рядом недавних европейских процессов.

В 1926 году *Völkischer Beobachter*, официальная газета набирающей силу в Германии нацистской партии, опубликовала материал о деле Бейлиса в шести частях, назвав процесс «проверкой на прочность для российского государства и для евреев». В 1930-е годы Юлиус Штрейхер, редактор

печально известной газеты *Der Stürmer*, активно пропагандировал кровавый навет, посвящая этой теме целые выпуски, на страницах которых Бейлис представал как один из многочисленных еврейских убийц детей. Нацисты никогда не ставили кровавый навет в центр своей официальной пропаганды, нацистских аналогов процесса Бейлиса нет. Но, как отмечает Давид Биале, кровавый навет имел для нацистов большее значение, чем это кажется на первый взгляд. Усилиями Штрейхера и ему подобных обвинение «маячило на заднем плане, добавляя мифологического антуража», способствовавшего «демонизации евреев», за счет которой «нацистам было легче изолировать и истреблять своих жертв». Дело Бейлиса как самый громкий процесс такого рода не могло не внести своей лепты в живучесть мифа о ритуальных убийствах. Стоит упомянуть, что в мае 1943 года рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер разослал несколько сот экземпляров книги о еврейских ритуальных убийствах, где делу Бейлиса посвящена отдельная глава, по айнзацгруппам — эскадронам смерти, уничтожившим более миллиона евреев в Восточной Европе. Эти книги, пояснил Гиммлер лейтенанту, стоявшему во главе одного из таких эскадронов, необходимо прочесть «прежде всего людям, занимающимся еврейским вопросом».

Даже после Второй мировой войны киевский процесс сохранялся в коллективной памяти европейцев. Жители оккупированной нацистами Польши называли мыло, предположительно изготовленное в Освенциме из человеческого жира, «мылом Бейлиса». (Поляки старательно избегали пользоваться этим мылом, поставляемым фашистами.)

После войны — о чем в страшных документальных подробностях написал историк Ян Томаш Гросс — в результате учиненных в Польше погромов погибли сотни евреев, которым удалось спастись от немцев. Во многих случаях толчком к насилию послужили слухи о ритуальных

убийствах. Первый послевоенный погром произошел в Жешуве 12 июня 1945 года. Никто не погиб, но многие евреи получили увечья, их дома разгромили, и около двухсот евреев покинули город. Как писала местная газета, людей привели в ярость «дикие слухи» о ритуальном убийстве, якобы совершенном «евреями, которым нужна была кровь [для переливания, чтобы окрепнуть] после возвращения из лагерей».

Самый крупный послевоенный еврейский погром в Польше произошел в городе Кельце, где были убиты сорок два еврея и около восьмидесяти ранено. Еврейская делегация попыталась добиться, чтобы Стефан Вышинский, епископ Люблинский, а позднее кардинал и примас Польши, открыто осудил антисемитизм. Как известно из отчета о встрече, Вышинский отказался публиковать заявление, осуждающее антисемитизм, и «в ходе разговора о толпе, возбужденной мифом о якобы необходимой для мацы христианской крови, епископ ясно дал понять, что во время суда над Бейлисом, когда было собрано множество древних и новых еврейских книг, вопрос о ритуальных убийствах окончательно решить не удалось». Следует, правда, отметить, что Теодор Кубина, епископ Ченстоховский, вместе с местными должностными лицами обнаружил недвусмысленное заявление, начинавшееся словами: «Все утверждения о ритуальных убийствах — ложь. Евреи никогда и никому не причиняли вреда в ритуальных целях».

Ухоженная могила

Могила на участке тридцать четыре, ряд одиннадцатый, место номер четыре Лукьяновского кладбища десятилетиями оставалась без присмотра. На ней не было даже читаемой таблички. Первые признаки возродившегося интереса к ней появились в 2003 году, когда пятнадцать человек, одетых в военную форму, какую носили офицеры царской армии, и два

православных священника приехали сюда из Петербурга, чтобы почтить место упокоения Андрея Ющинского.

Вскоре после их визита на участке — по словам директора кладбища, без официального разрешения — посадили аккуратно подстриженный кустарник и установили новый крест с двумя металлическими табличками с надписями. На заброшенном кладбище, где многие могилы давно поросли бурьяном, могила Андрея теперь выделялась необычайно ухоженным видом.

Надпись на первой табличке гласила:

Здесь почивают мощи Св. отрока-мученика Андрея (Ющинского). Увенчан мученическим венцом на 13-м году, 12/25 марта 1911 г. Святой мучениче Андрее, моли Бога о нас.

Употребление слова «мученик» применительно к Андрею вряд ли уместно, поскольку убийство несчастного мальчика, какой бы страшной ни была его гибель, не имело никакого отношения к его вере. Под первой табличкой кто-то прикрепил вторую — с куда более прямолинейным и провокационным текстом:

Андрей Ющинский, умученный от жидов в 1911 году.

В феврале 2004 года, когда сообщение об этой антисемитской надписи вызвало скандал, администрация кладбища обратилась в суд за разрешением убрать табличку — иначе, по словам директора, убирать ее было бы незаконно, — но через несколько дней оскорбительную надпись кто-то сорвал, так что необходимость в юридической процедуре отпала.

Могила Андрея продолжала привлекать внимание русских и украинских праворадикалов. В феврале 2006 года ее снова подновили — на этот раз усилиями крупного

украинского негосударственного вуза, Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП), которую Государственный департамент США и Антидиффамационная лига называют рассадником антисемитской пропаганды. На могиле появилась прямоугольная мраморная плита с выбитым на ней текстом из первого заданного присяжным вопроса — о сорока семи ранах и пяти стаканах крови, — в котором, учитывая положительный вердикт, видели подтверждение версии о ритуальном убийстве. Группы местных евреев были возмущены этой надписью, но, поскольку она представляла собой выдержку из судебного протокола и не содержала прямых оскорблений, законных оснований ее убрать не нашли. Она остается там по сей день.

Преувеличивать степень антисемитизма на Украине было бы ошибкой. На государственном уровне Украина не поощряет антисемитизм. Правительство неоднократно осуждало антисемитские выпады. Тем не менее могила Андрея Ющинского превратилась в место паломничества праворадикалов. Ежегодно в годовщину убийства многочисленная организованная группа приезжает почтить память «отрока-мученика», тринадцатилетнего мальчика, имя которого по сей день используют в неблагоприятных целях. Приходят сюда и небольшие компании почитателей. Придя на Лукьяновское кладбище весной, вы непременно увидите на могиле Андрея свежие цветы.

■ О датах и терминах

Все даты приведены по юлианскому календарю (старому стилю), использовавшемуся в России до 1918 года и на тринадцать дней отстающему от западного григорианского.

В книге я чаще употребляю термин «обвинение в ритуальном убийстве» вместо более привычного «кровавый навет», поскольку первый мне кажется более уместным в истории судебного разбирательства, где решается вопрос об обоснованности предъявленного обвинения. Но обвинение в ритуальном убийстве всегда и везде было именно наветом.

Благодарности

Я должен поблагодарить многих.

Рени Цукерброт, мой замечательный литературный агент, вытащила меня на личную встречу и предложила написать книгу, когда я еще понятия не имел, что это будет за книга, но благодаря ей осознал потенциал выбранной темы. Элти Карпер приобрела книгу для издательства *Schocken* и неизменно поддерживала меня все то длительное время, которое ушло на исследовательскую работу и ее написание.

Директор Института иудаики в Киеве Леонид Финберг, мимо которого трудно пройти исследователю, занимающемуся историей украинских евреев, оказал мне неоценимую помощь, открыв доступ к архивным материалам. Кроме того, он предоставил мне неутомимого научного консультанта Ольгу Савчук.

Хочу сказать спасибо и другим людям, помогавшим работать с материалом: Николь Уоррен, которая в поисках любых упоминаний дела Бейлиса проштудировала огромное количество микропленки с размытыми копиями дореволюционных газет, а также прочитала черновой вариант моей книги и высказала много ценных соображений, а еще Наталии Ровенской, Катерине Демчук, Джейн Горьевски и Лидии Хэмилтон.

Катя Шрага расшифровала рукописные документы, казавшиеся нечитаемыми даже носителям русского языка, и в некоторой степени мне удалось перенять ее навыки.

Профессора Натан Меир и Йоханан Петровский-Штерн дали мне несколько ценных советов. Профессор Роберт Вейнберг любезно уделил мне время, прочитав черновые варианты нескольких глав и поделившись своими впечатлениями.

Дэвид Грофф позволил мне воспользоваться его непревзойденным редакторским мастерством. Александр Заславский и Кэролайн Ховард, в свою очередь, сделали ряд пронизательных и конструктивных замечаний по поводу рукописи.

Джей Бейлис, внук Менделя Бейлиса, и его кузина Хильда Эделист щедро поделились со мной воспоминаниями и сведениями о своей семье, обеспечив материалом, которого бы я нигде больше не нашел.

Марк Стейн, один из редакторов нового издания воспоминаний Менделя Бейлиса, предоставил мне массу интересного материала.

Керри Фридман-Коэн обнаружила и перевела утраченную часть мемуаров Бейлиса, напечатанных в еврейской газете «Хайнт», и сделала большую часть переводов с идиша для этой книги. Некоторые переводы с идиша выполнены Джессикой Кирцане.

Алекс Ратновский, сотрудник библиотеки Иешива-университета, оказал мне бесценную помощь.

Моя жена Лилия взяла на себя множество обязанностей: иллюстратора, консультанта по русскому языку, вдумчивого и чуткого читателя. У меня не хватит слов, чтобы выразить ей свою благодарность.

Источники и литература

Главный источник информации о деле Менделя Бейлиса — трехтомный стенографический отчет о судебном процессе, печатавшийся ежедневно в газете «Киевская мысль», а позднее опубликованный полностью (Киев, 1913). Эта стенограмма — уникальный и нетипичный документ, появившийся благодаря усилиям энтузиастов, потому что судебные заседания в России обычно не стенографировались полностью.

Однако уже тогда обе стороны отмечали наличие в стенограмме некоторых неточностей. В таких случаях я дополнил эти сведения или использовал альтернативные версии свидетельских показаний, опираясь на материалы газет «Речь», «Киевская мысль» и «Киевлянин», а иногда и другие источники. В 2005 году Государственный архив Киевской области (ГАКО) открыл доступ к семи катушкам с микроплёнкой, содержащим около пяти тысяч страниц документов по судебному процессу. «Документы по делу Бейлиса» были опубликованы американской компанией *Eastview Information Services*.

Кроме того, я просмотрел сотни страниц документов из Государственного архива Киевской области. Источники из этой группы даны под аббревиатурой ГАКО со стандартными сокращениями.

После Февральской революции Временное правительство созвало Чрезвычайную следственную комиссию, поручив ей расследование преступлений царского режима, в том числе и суда над Бейлисом. Документы опубликованы в книге «Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства» (Л.: Государственное издательство, 1927).

Другой бесценный источник — показания, данные Чрезвычайной следственной комиссии ключевыми участниками дела Бейлиса и изданные отдельной книгой как «Дело Менделя Бейлиса. Материалы Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства о судебном процессе 1913 г. по обвинению в ритуальном убийстве».

Отдельно следует упомянуть русского историка и юриста Александра Тагера, автора книги «Царская Россия и дело Бейлиса» и двух ценных статей в журнале «Красный архив», собиравшего важные материалы о процессе. Судьба его сложилась трагически: в 1930-х годах он стал жертвой сталинских репрессий. Работы Тагера — до сих пор единственный источник многих сведений о деле Бейлиса.

Представление о переживаниях самого Менделя Бейлиса дают его автобиография «История моих страданий» и состоящее из нескольких частей интервью с ним, опубликованное в газете «Хайнт» в ноябре — декабре 1913 года на идише под названием «Моя жизнь в тюрьме и под судом». В тех случаях, когда эти свидетельства пересекаются, я, как правило, отдавал предпочтение версии «Хайнт» в силу ее хронологической близости к описываемым событиям. Кроме того, Бейлис давал интервью газетам, выпускаемым Издательским трестом Хёрста; интервью были напечатаны весной 1914 года. К сожалению, в этом материале столько явных ошибок и преувеличений, что я использовал его исключительно редко.

Краткая библиография

Бейлис М. История моих страданий / Пер. Н. Кофман. Иерусалим, 2020.

Бонч-Бруевич В. Знамение времени. Убийство Андрея Ющинского и дело Бейлиса (Впечатления Киевского процесса). М.: Государственное издательство, 1921.

Варфоломеев Ю. В. А. С. Зарудный: юрист и общественный деятель. Саратов: Научная книга, 2002.

Гейфман А. А. Революционный террор в России. 1894–1917 / Пер. Е. Ю. Дорман. М.: Крон-Пресс, 1997.

Грузенберг О. О. Вчера: Воспоминания. Париж, 1938.

Дело Бейлиса: Стенографический отчет: В 3 т. Киев: Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1913.

Дело Менделя Бейлиса: Материалы Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства о судебном процессе 1913 г. по обвинению в ритуальном убийстве. СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 1999.

Иоффе Г. З. Дело Бейлиса // Царская Россия и дело Бейлиса: исследования и материалы. М.; Иерусалим: Гешарим, 1995. С. 327–350.

Кацис Л. Кровавый навет и русская мысль: Историко-теологическое исследование дела Бейлиса. М.; Иерусалим: Гешарим, 2006.

Клиер Д. Кровавый навет в русской православной традиции // Евреи и христиане в православных обществах Восточной Европы / Под ред. М. В. Дмитриева. М.: Индрик, 2011.

Маклаков В. А. Из воспоминаний. Нью-Йорк: Chekhov Publishing House, 1954.

Пиджаренко А. Неритуальное убийство на Лукьяновке. Криминальный сыск Киева в начале XX в. Киев: КВЦ, 2006.

Резник С. Растление ненавистью: кровавый навет в России: Историко-документальные очерки о прошлом и настоящем. М.; Иерусалим: ДААТ/Знание, 2001.

Резник С. Сквозь чад и фиимиам. М.: Академия, 2010.

Рууд Ч. А., Степанов С. А. Фонтанка, 16. Политический сыск при царях. М.: Мысль, 1993.

Самюэл М. Кровавый навет: Странная история дела Бейлиса / Пер. Р. Монас. Нью-Йорк: Waldon Press, 1975.

Степанов С. А. Загадки убийства Столыпина. М.: Прогресс-Академия, 1995.

Степанов С. А. Черная сотня. М.: ЭКСМО, Яуза, 2005.

Степанов С. А. Великий Столыпин. «Не великие потрясения, а Великая Россия». М.: ЭКСМО, 2012.

Тагер А. С. Царская Россия и дело Бейлиса. М.: Советское законодательство, 1934.

Троицкий Н. Судьбы российских адвокатов. Саратов: Изд-во Саратовского государственного университета, 2003.

Beilis M. The Story of My Sufferings. New York: Mendel Beilis Publishing Co., 1926.

Biale D. Blood and Belief: The Circulation of a Symbol Between Jews and Christians. Berkeley: University of California Press, 2008.

The Blood Libel Legend: A Casebook of Anti-Semitic Folklore / Ed. A. Dundes. Madison: University of Wisconsin Press, 1991.

Geifman A. Thou Shalt Kill: Revolutionary Terrorism in Russia, 1894–1917. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993.

Gross J. T. Fear: Anti-Semitism in Poland After Auschwitz. New York: Random House, 2006.

Klier J. D. Imperial Russia's Jewish Question, 1855–1881. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Langmuir G. I. Toward a Definition of Anti-Semitism. Berkeley: University of California Press, 1990.

Lindemann A. S. The Jew Accused: Three Anti-Semitic Affairs: 1894–1915. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Margolin A. The Jews of Eastern Europe. New York: Thomas Selzer, 1926.

Pogroms: Anti-Jewish Violence in Modern Russian History / Ed. J. D. Klier, S. Lambroza. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Rogger H. Jewish Policies and Right-Wing Politics in Imperial Russia. Berkeley: University of California Press, 1986.

Ruud C. A., Stepanov S. A. Fontanka 16: The Tsar's Secret Police. Montreal: McGill-Queen's University Press, 1999.

Samuel M. Blood Accusation: The Strange Story of the Beiliss Case. New York: Alfred A. Knopf, 1967.

Weinberg R. Blood Libel in Late Imperial Russia: The Ritual Murder of Mendel Beilis. Bloomington: Indiana University Press, 2013.